[Polaris]

Юрий Слепкин



БЕАТРИЧЕ КОТА БРАМБИЛЛЫ

Рассказы, новелла, повести

Беатриче кота Брамбиллы

Юрий Львович Слёзкин

Аннотация
POLARIS
Юрий СЛЕЗКИН. БЕАТРИЧЕ КОТА БРАМБИЛЛЫ. Рассказы, новеллы, повести
РОМАНТИЧЕСКАЯ ПРЕЛЕСТНИЦА. (Из дедовских мемуаров)
  ГЛАВА ПЕРВАЯ
  ГЛАВА ВТОРАЯ
  ГЛАВА ТРЕТЬЯ
  ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
  ГЛАВА ПЯТАЯ
  ГЛАВА ШЕСТАЯ
НЕГР ИЗ ЛЕТНЕГО САДА
НОВЕЛЛА
ДАМА В СИНЕМ
ХИМЕРЫ
В МОРЕ
ПОД НЕБОМ
  Глава 1. Водяной
  Глава 2. Полудница
  Глава 3. Леший
ПРЕДЧУВСТВИЕ

ЧЕРНОЕ СЛОВО
КРАСНАЯ КОФТОЧКА
ДУХ ПРОТИВОРЕЧИЯ
ДЬЯВОЛ. (Из дедовских мемуаров)
ТО, ЧЕГО МЫ НЕ УЗНАЕМ
БЕАТРИЧЕ КОТА БРАМБИЛЛЫ
ФОНАРЬ В ПЕРЕУЛКЕ
НЕРВЫ
ЧТО ЭТО?
ДВЕ СТАРУХИ
ЛЕГЕНДЫ О ХРИСТЕ
ЛЕГЕНДА РЫБАКА
СКАЗКА О НАСЛАЖДЕНИИ И ТИХОМ СЧАСТЬЕ

Аннотация

Прозаика Ю. Л. Слезкина (1885–1947) помнят сегодня в основном как одного из друзей-недругов М. А. Булгакова, однако в 1910-1920-х гг. он был весьма популярным и даже знаменитым беллетристом. В книгу вошли произведения, раскрывающие различные грани его таланта: небольшие романтические повести, а также «страшные» и фантастические новеллы и рассказы. Существенная часть этих произведений переиздается впервые.

Russian Silver Age prose, Fantasy, Mysticism, русская проза Серебряного века, фантастика, мистика

POLARIS



ПУТЕШЕСТВИЯ · ПРИКЛЮЧЕНИЯ · ФАНТАСТИКА

CDII (152)

Юрий СЛЕЗКИН
БЕАТРИЧЕ КОТА БРАМБИЛЛЫ{1}
Рассказы, новеллы, повести

Ах, часто и гусар вздыхает,
И в кивере его весной
Голубка гнездышко свивает…
Д. Давыдов

{1} Комментарии: 2.1

Все включенные в книгу тексты публикуются по указанным ниже изданиям. Орфография и пунктуация приближены к современным нормам.

Повесть «Романтическая прелестница» проиллюстрирована Д. Кардовским, «Сказка о наслаждении и тихом счастье» — С. Лодыгиным. Заставки к прочим текстам принадлежат Е. Ващенко. В оформлении обложки использована работа П. Рэнсона.

Издательство Salamandra P.V.V. приносит благодарность С. Никитину и А. Степанову за помощь в работе над книгой.



РОМАНТИЧЕСКАЯ ПРЕЛЕСТНИЦА



(Изъ дѣдовскихъ мемуаровъ).

Повѣсть
ЮРІЯ СЛЕЗКИНА.

Рисунки академика
Д. Н. КАРДОВСКАГО.

РОМАНТИЧЕСКАЯ ПРЕЛЕСТНИЦА{2} (Из дедовских мемуаров)

{2} Комментарии: 2.2
Аргус. 1917. № 2.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Ничто на свете не располагает так к меланхолии, как темная, холодная русская ночь, необозримые поля, гладкая, накатанная дорога, мерный бег легкой тройки и мерные движения тяжелой дуги, однообразно мелькающей перед глазами молчаливого путника. И развивает эту меланхолию однозвучный, непрерывный и унылый звон колокольчика. Странно, а нет почти ни одного русского, который бы не любил всей этой тоски и не вспоминал бы с глубоким вздохом о темных и морозных ночах своей молодости, о ночах, проведенных на столбовой дороге. Воспоминания о ночах этих, о звездном небе, обещающем столько неведомых радостей юному сердцу, влекут за собою новые воспоминания. Одно из них сейчас особенно живо.

Чтобы передать его вам, любимые внуки, должен я снова вернуться ненадолго к той поре 53-го года, когда, раненый, возвращался я на родину.

Путь мой лежал через Фокшаны и Яссы на Скуляны, Могилев, Житомир и Витебск, но как было проехать мимо Смоленска и не проведать своих стариков, живущих неподалеку от этого города

в родимых «Грушиках»? Презрев советы полкового лекаря, наказавшего прямым путем ехать в Петербург и, не мешкая, прибегнуть к помощи опытных врачей, я с Могилева свернул в сторону от прямого пути и вскоре, с бьющимся сердцем, забыв всякую мысль о больной руке, подъезжал к последней станции, где должен был сменить ямщичьих одров на борзую отцовскую тройку.

Пристально всматривался я в зимнюю мглу дороги, отирая рукавицею глаза, ежеминутно заслоняемые тонкою морозною сетью. Чем быстрее бежали кони, тем медленнее, казалось мне, ползет время. Луна, будто дразнясь, бежала слева от меня, не давая обогнать себя.

Наконец, блеснули в тумане первые огни знакомого села. Глухой лай донесся словно приветствие. Ямщик ударил вожжою и свистнул, сани толкнуло на ухабе, луна забежала за колокольню, и белое светлое поле сменилось темною улицею. Тяжело сопя, кони стали. Я откинул полость и с трудом выбрался из саней. Денщик мой уже стучался у ворот. Босоногий парень выскочил нам навстречу и скинул засов. Путаясь в полах шинели, едва различая дорогу и скользя, добежал я до крылечка и вошел в сени.

Здесь все мне было знакомо: и кислый запах

хлеба, и скрыня с мукою, и пестрый половичок. Я готов уже был кликнуть хозяина, но в то же мгновение дверь из чистой половины открылась. Желтая полоса света легла к моим ногам. Мне навстречу вышла женщина в дорожном меховом салопе и капоре, скрывавшем ее лицо. За нею следом выступал высокий и дородный барин. Я невольно посторонился в тень. Поравнявшись со мною, женщина протянула ко мне руку. В это время станционный смотритель, войдя в сени, обратился к барину с каким-то вопросом. Барин ответил ему и прошел вперед. У самого своего уха я услышал заглушенный шепот:

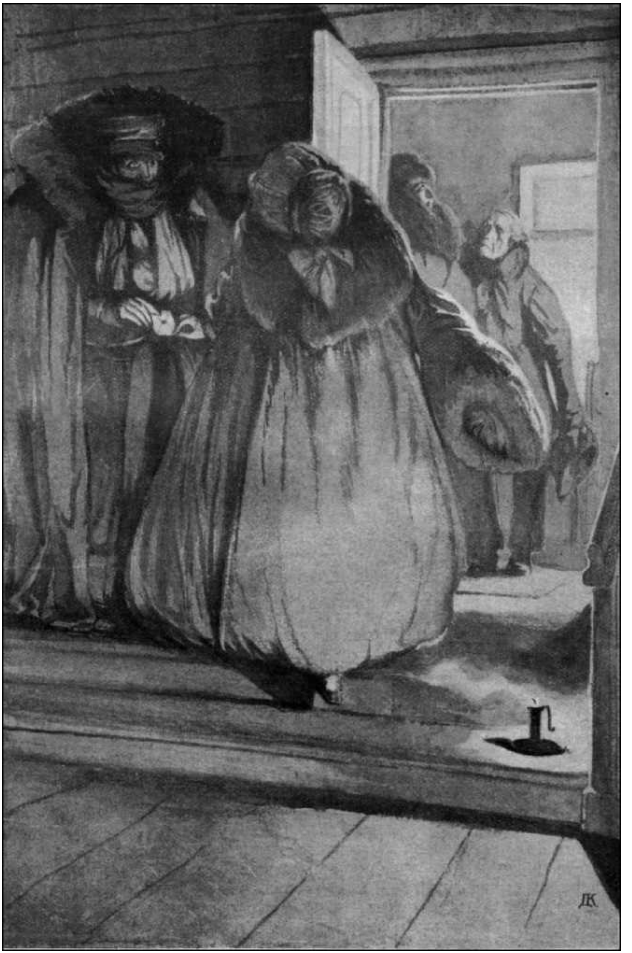
— Боже, почему так поздно? Мы едва не уехали. Вот записка. Прочти, прости и забудь.

Горячие пальцы коснулись моей руки. Невольно я сжал поданный мне клочок бумаги, от смущения и удивления не имея сил вымолвить слово. Но мне не дали прийти в себя. Струя теплого и душистого воздуха пахнула в лицо, прошелестели поспешные шаги, и никого уже не было рядом со мною.

Я оглянулся и только собрался выбежать за незнакомкою на крылечко, как тотчас же услыхал знакомый хрипучий голос:

— Со счастливым приездом вас, батюшка-ба-

рин.



И бородатое лицо кучера нашего Африкана потерлось о мою руку.

— Все ли здоровы? — спросил я его озабоченно, тем временем думая: «Что за наваждение такое?» Но размышлять долго не приходилось, нужно было спешить домой, поскорее обнять дорогих стариков.

Сунув записку в карман и перекинувшись несколькими словами с Африканом, я снова поднял воротник шинели и сел в сани. Лихая тройка рванула вперед и понесла. Я зажмурился и улыбнулся — сладко замерло сердце от быстрого лета. На время забылась таинственная встреча. Только бы скорее Грушики.

Не стану докучать вам описанием свидания моего с батюшкой и матушкой. Нескончаемые поцелуи и расспросы, обильный ужин, благостное тепло в душе и желудке, наконец, опрятная светелка с кроватью, застланной пуховиками — все это знакомо каждому и для каждого по-особому мило.

Оставшись наконец один, поспешно стал я раздеваться, овладеваемый сном и совсем позабыв о встрече на постоялом, но внезапно, выгружая карманы, увидал я смятый листок, и снова во мне проснулись волнение и любопытство. Приблизив

записку к глазам и вдыхая теплый и увядший аромат ее, я, при масляном свете огарка, вот что прочел:

«Любимый, не укоряй меня, я сама, как безумная. Счастье всей жизни моей рухнуло. У меня нет больше сил бороться — я слабая, прости меня. Уже все было готово к побегу, когда муж мой пришел ко мне и сказал, что знает о моем желании. Он требовал назвать имя, но я, разумеется, не сказала его. Муж был вне себя, он чуть ли не бил меня. Потом заявил, что увозит меня отсюда. Разве могла я до конца ему сознаться? Нужно было покориться, побороть свои чувства и схоронить свою любовь. Мы больше никогда не увидимся, даже тогда, когда я опять вернусь сюда — так нужно; так, отчаиваясь, я решила. Без надежды до конца соединить с тобою свою жизнь — я не могу принадлежать тебе. Любовь должна быть красива. Если бы мы теперь продолжали тайно с тобой встречаться — наша любовь увяла бы в наших руках, как цветок вянет без живительной влаги. Забудь меня и сохрани память о нашем столь кратком счастье. Душою всегда твоя».

Усмехаясь и покусывая ус, перечитывал я эти строки. Случай привел меня быть тайным участником чьей-то преступной любви. Как же глуп

был я, что не сумел воспользоваться оказией и не узнал, кто такие герои этого романа. Излишняя поспешность лишила меня возможности справиться у станционного смотрителя об имени героини. Неудовлетворенное любопытство долго еще не давало мне уснуть. Лежа с закрытыми глазами, силился я оживить в памяти неясный образ незнакомки, стараясь дополнить воображением то, что я не мог увидеть.

Наутро решил я, что любопытство мое можно еще удовлетворить, съездив для того на станцию. Но день уходил за днем и намерение мое так и не удалось мне осуществить. Любопытные соседи с утра до вечера наполняли наш дом или нас самих звали к себе. Всюду рассказывал я о походе, волочился за барышнями, играл в карты с людьми почтенными и пил с такими же легкомысленными юнцами, как я. Рука моя все не поправлялась, и матушка моя, беспокоясь за меня, наконец настояла, чтобы я без промедления ехал в Петербург.

Дорога моя лежала в противоположную сторону от того села, где произошла моя встреча с романтической особою, и так и уехал я из родных мест, ничего не узнав и лишь храня на память смятую любовную записку.

Последующие события, о которых я уже однажды рассказал вам, отвлекли далеко мысли мои и чувства от таинственного, но все же малозначительного дорожного моего приключения. Смерть дорогой Лелечки Трубачеевой, смерть столь неожиданная, хотя и предвиденная, сильно меня расстроила. Долго не мог я прийти в себя, долго казнился, считая себя косвенным виновником совершившегося несчастия. Недаром молила меня Лелечка оставить мысли о чертовщине, коей занималось общество Лыкошиной. Предчувствие ее оправдалось — в моем упрямстве обрела она смерть.

Ежели бы я был более суеверен, роковое совпадение это могло бы повергнуть меня в безумие и отчаяние. Но все же здравый рассудок меня не покинул. Горе сжимало мое сердце, но не убило в нем охоты к жизни, не помрачило рассудка. Я оплакивал свою невесту, но не богохульствовал, твердо веря в Господний Промысел. Ни Лыкошина, ни Веточкин, никто не мог совратить меня в Яеретическое заблуждение. Но все же горе было сильно и остро. Рука моя снова разболелась. Я слег в постель. Одно время думал я, что придется расстаться с рукою, но Бог спас ее. К ранней весне я совсем оправился. Отдых, питание и деревенский

воздух должны были вернуть мне былые силы. Я рад был избавиться от докторов, петербургской грязи, вздорных речей Веточкина, и с живостью стал собираться в дорогу. Вскоре дребезжащая нетычанка по весенней распутице повлекла меня к смоленским полям, на широкое раздолье.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Сперва предавался я лени в затишье нашей укромной усадьбы. Только бы спать, только бы есть, только бы дышать медвяным духом лугов и щуриться на солнце. Но вскоре, окрепнув, тело мое потребовало большей деятельности и напряжения. Тогда со всею страстью предался я охоте и неделями стал пропадать из дому. Все леса и болота исходил я с ружьем в руках и с собакою у ног. Когда же с ранней весною прошла охотничья пора, я, ожидая первый желтый лист, занялся рыбною ловлей.

Однажды Африкан, поверенный моих охотничьих дел, сообщил мне с важностью, что он походатайствовал за меня перед князем Д., и тот разрешил мне в любое время ловлю раков в его обширном озере. «А раков там тьма тьмущая», — с уверенностью и ликуя, повторил Африкан. Я был тому рад не менее. До той поры мне не доводилось ловить раков, а лично я не отваживался просить разрешения на охоту у князя, хотя и представлялся ему в Смоленске, как нашему предводителю.

Только начало заходить солнце, как мы отправились к озеру, лежащему от нас в двадцати

верстах. Лежа на спине в телеге, смотрел я на медленно бегущие облака; сердце мое билось ровно, ничто не смущало моих мыслей. Медленным, хриповатым голосом Африкан рассказывал мне о былых своих охотничьих приключениях. Короткая трубка коптила ему его сизый нос. Незаметно добрались мы до места. Небольшой рыбачий поселок высоко всполз над озером. Синий и гладкий щит лежал у наших ног, кинутый богатырской рукою в лесную чащу. Дальше, за лесом и тоже на холме, виднелись княжеские хоромы. От них шла, изгибаясь, широкая дорога.

Заходящее солнце позолотило вершины сосен, пурпуром окрасило прибрежный песок и, развернувшись по небу цветным опахалом, зажгло отраженные огни в подслеповатых оконцах рыбачьих избушек.

В ожидании ночи, когда следовало начать охоту, мы расположились на берегу и развели костер. Крепкая, румяная молодица принесла нам молока и приладила котелок с ухою. Невдалеке от нас плескались ребятишки. Рыбаки готовили рачью поживу.

Вскоре за лесом потух последний луч, озерная вода стала черной, а небо, вызвездившись, посветлело. Я разулся и, вооружившись просмо-

ленной головнею, последовал за Африканом в воду. Началась охота, и все внимание свое обратил я на озерное дно. Лодки медленно скользили вдоль берега, потрескивали головешки, посылая огненные брызги в черную глубь воды. Вскоре увидал я на освещенном пламенем дне неподвижно лежащих раков и весь ушел в волнение охоты. Только внезапный стук колес неподалеку и топот лошадиный заставили меня поднять голову. Оглядевшись, увидел я у костра остановившуюся коляску, а в ней незнакомую барыню. Подле стояли рыбаки без шапок.

— Кто это может быть? — спросил я вполголоса рядом идущего Африкана.

Кучер поставил ладонь щитом над глазами и взглянул на берег.

— Да никак это сама княгиня… Так и есть — она.

Я невольно оправился и тотчас же рассмеялся над собою. Как ни оправляйся, а лучше не станешь. На мне всего-то и было, что небеленая рубаха да засученные выше колен порты. Хорошо, если княгиня примет меня за простого рыбака и не вздумает говорить. Я опустил головню в воду, она зашипела и угасла, темный круг снова сомкнулся передо мною.

Тем временем княгиня сошла с коляски и подошла к самому краю воды. Она теперь вся была освещена ярко пылающим костром. Белое ее платье, точно заря, переливало живым золотом. Постояв минуту, княгиня спросила о чем-то рыбаков и пошла вдоль берега в мою сторону. Шаг ее был легок и свободен, стан высок и строен. Лица ее я видеть не мог, но по всему мог судить, что оно должно быть красиво. Тем более почувствовал я себя в смущении. Как предстать перед ней в таком неавантаже и столь неромантично?

С волнением и робостью следил я за княгинею. Она была уже совсем близко от меня. Внезапно она остановилась и кликнула:

— Господин Тулубьев, вы здесь?

На мгновенье я похолодел, готовый с головою уйти в воду. Что было делать? Молчать — неудобно, отвечать — страшно. Она повторила еще громче и веселее:

— Господин Тулубьев, ау! Где вы?

Я пробормотал, держась одною рукою за ворот рубахи, другою снимая старую гусарскую фуражку:

— Я здесь, княгиня, и крайне извиняюсь, что не имею возможности выйти к вам на берег и представиться.

Мне ответили веселым смехом. Смеяться, пожалуй, и было над чем: мое положение с минуты на минуту становилось глупее. Продолжать охоту казалось невежливым, а вылезать на берег — зазорно. К тому же, стоя неподвижно в воде, я достаточно нахолодался, и меня начинал пробирать озноб.

Наконец, княгиня перестала смеяться и снова крикнула:

— А там глубоко?

Волей-неволей приходилось поддерживать разговор, и я отвечал:

— Не очень, княгиня, всего лишь по колено.

— А раков много?

— Говорят — достаточно. Да я еще только принялся за ловлю.

— И я помешала вам?

— Что вы, княгиня, помилуйте… Но мне, право, неловко.

— Что неловко? — опять рассмеявшись, молвила княгиня. — Неловко стоять передо мною по колени в воде или неловко разговаривать с незнакомою?

— Да нет, княгиня…

Тут я совсем запутался и замолчал; пусть кто-нибудь другой сумел бы не смутиться на моем

месте.

Княгиня смеялась все веселее, все звонче.

— Так вы не можете выйти на берег?.. — говорила она. — Ах, какая жалость! А я затем и приехала, чтобы познакомиться с вами и посмотреть на охоту вашу… Что делать, если молодежь нынешняя такая нелюдимая и знать не хочет своих соседей. Одиночество и раздумье предпочитает она ухаживанию, а ловлю раков легкой беседе с молодой женщиной; нам, бедным, остается самим навязываться и просить развлекать нас…

— Но, княгиня, — снова в смущении пробормотал я, суча застывающими ногами. — Я чувствую себя кругом виноватым и завтра же постараюсь исправить свое невежество и представиться вам у вас в доме…

— Завтра? — повторила княгиня. — Нет, сударь, вы так от меня не отделаетесь; кто же знакомится на другой день после встречи? Какой рыцарь и герой, — а я наслышана о том, что вы и герой, и рыцарь, — будет так жесток и откажет даме в ее желании? Достаточно того, что я сюда приехала и, конечно, не за тем, чтобы с тем же уехать обратно…

Что было возражать на это? Право, на войне не чувствовал я себя в такой безвыходности. Но

все же стоять в холодной воде мне достаточно наскучило и я осмелел.

— Княгиня, — сказал я, — вы не должны сомневаться в моем сильнейшем желании представиться вам тотчас же, но для того надобно мне выйти из воды и приодеться. Если вы отойдете в сторону, я сумею это выполнить и через минуту буду в полном вашем распоряжении.

Некоторое время мне ничего не отвечали. Я слабо различал на берегу белое княгинино платье. Африкан давно ушел от меня вперед. Его головня весело сыпала искры. То и дело кучер нагибался и вытаскивал из воды сачок. Досадно было смотреть на это. Но представьте мое изумление и беспокойство, когда нежданно услыхал я неподалеку плеск и увидел идущую ко мне по воде княгиню. В растерянности я бросил свою загашенную головню, не зная, что предпринять.

— Вы простудитесь, — вскрикнул я первое, пришедшее мне в голову.

— О, нет, — весело отвечала княгиня, подойдя ко мне и протягивая руку, — я сняла чулки и туфли, а вода совсем теплая. Мне захотелось половить раков. Вместо того, чтобы отрывать вас от вашего развлечения, я сама решила разделить его с вами.

Я приложился к протянутой руке, надушенной и нежной, дивуясь столь смелой выходке новой своей знакомой.

— Зовут меня Аглаей Егоровной, — сказала она — а ваше имя мне известно. Ну, а теперь учите, что нужно делать….

Некоторое время колебался я, можно ли позвать к себе Африкана, но потом решил, что больше чиниться нечего и кликнул своего кучера.

При свете ярко пылавшей головни, я сумел хорошо рассмотреть княгиню. Она стояла, чуть наклонясь вперед, одною рукою придерживая платье, поднятое ею чуть выше круглых колен, другою рукою ухватясь за узкий вырез на груди. Лицо ее можно было скорее назвать задорным и миловидным, чем красивым. В нем было много жизни и особой приятности. Полные губы не переставали улыбаться, тонкий нос, чуть приподнятый, ширил ноздри, а темные глаза казались влажными и девически невинными. Заглядевшись, я забыл совсем, что при свете точно так же хорошо можно было рассмотреть и меня, а в ту минуту я не мог показаться красивым. Но княгиня смотрела на меня без всякой робости и пренебрежения. Напротив того, она казалась весьма довольной своей затеей и смеялась от ду-

ши и Африкану, принесшему ей головню, и мне, и воде, намочившей подол ее платья, и ракам, которых она до смерти боялась.

Пусть судит читатель этих записок, насколько успешно шла наша ловля, сопровождаемая взрывами смеха, возгласами и плеском. Но, право, я особенно не мог пожаловаться на неудачу.

Непрестанно скользя, спотыкаясь и накалывая о каменья свои ноги, княгиня хваталась то за плечо мое, то за руку, иногда совсем близко наклоняясь ко мне и горячо дыша в лицо.

Все это отнюдь не казалось скучным и утомительным. Я сам смеялся от души и совсем не чувствовал холода. Напротив того, мне было весьма жарко, и щеки мои пылали, быть может, потому, что головни наши, то и дело соприкасаясь, разгорались все сильнее.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

На другой день я поспешил явиться в усадьбу князя Д. Князь встретил меня на террасе своего дома. Он приветливо встал мне навстречу и протянул руку.

— Как здоровье вашего батюшки? — тотчас же спросил он меня и, усадив в кресло, стал расспрашивать о войне и планах моих на будущее. Я, по мере возможности, удовлетворил его любопытство, с тоскою и надеждою поглядывая на дверь, ведущую в дом.

Князь был свеж, румян, плечист, и все еще, несмотря на свои пятьдесят лет, хорош собою. Седина густых и в меру длинных волос его придавала ему ласкающую величавость. Он невольно располагал к себе, и тем более привлекательной и недоступной казалась мне княгиня. Такого мужа нельзя было не любить и не уважать.

Время шло чрезвычайно быстро, а княгиня все не появлялась. Исчерпав все темы разговора, я с тоскою думал, что так и придется мне покинуть усадьбу эту, не повидав княгини. Помедлив еще немного и поблагодарив за разрешение охотиться на озере, я приподнялся с места, как внезапно

по дорожке раздались легкие шаги и на ступеньках террасы я увидал хозяйку дома.

Она издали улыбалась мне, точно давнему знакомому. При виде ее улыбнулся и князь. Когда же княгиня протянула мне руку, а я почтительно поцеловал ее, князь промолвил:

— А я и забыл, что вы уже знакомы. Моя сумасбродная рассказала мне о вашей встрече.

Я вспыхнул от смущения, припомнив, в каком виде застала меня на озере княгиня. Мне почему-то казалось, что необычайное это знакомство наше должно было храниться в тайне.

Княгиня подошла к мужу и склонилась сзади над его плечом. Князь взял ее руку и любовно пожал ее. Все еще пылая, я стал раскланиваться, ссылаясь на неотложные дела. Но княгиня прервала меня на полуслове.

— Полноте, что за дела? Вы останетесь у нас обедать, а теперь пойдете со мною кормить карпов. Вы увидите, какие они у нас большие.

Князь подтвердил в свой черед:

— Конечно, молодой человек, не заставляйте себя упрашивать, не женируйтесь. Ступайте в сад, а я пока займусь кой-чем у себя в кабинете. До встречи за обедом!

Мне ничего не оставалось, как повиноваться.

Я шел следом за княгинею по дорожке, усыпанной песком, невольно стараясь попасть на след, оставляемый быстрой и маленькой ножкой.

Княгиня не переставала щебетать, перескакивая в разговоре с одного предмета на другой. Я едва успевал следить за ходом ее мыслей. Она оказалась весьма начитанной и большой любительницей поэзии. Гоголь казался ей несколько грубым, Пушкина она боготворила, а Лермонтов приводил ее в трепет. Она сетовала на то, что романтизм уходит из нашей жизни, что нравы грубеют, и что устройство карьеры и любостяжание занимают современную молодежь более любви и жажды подвигов.

— Вы не способны на жертвы, — повторила она несколько раз с печальным вздохом, — нет, вы на них уже более не способны…

Она села на скамью у бассейна и, мечтательно склонив голову на руки, пристально смотрела на гладкую прозрачную воду. Я старался уверить ее в противном: доказывал, что многие молодые люди готовы на самопожертвование, на пламенную, бескорыстную любовь, как только им случится в жизни своей встретить олицетворение их идеала. Невольно я увлекся своими словами, распалился и точно почувствовал в себе необычайную спо-

собность к любви и подвигам.

Солнце калило мне спину, а я не замечал этого, горло мое давно пересохло — я удваивал свое рвение. Наконец, истощив всю силу своей убедительности, все доводы, я замолчал, не в силах больше произнести ни слова. Ко мне вернулась способность видеть окружающее. Мне стало нестерпимо жарко и неловко. Княгиня глядела на меня с печальной полуулыбкой, глаза ее блестели влажным блеском и пристально смотрели на меня. Щеки мои от этого пылали еще ярче.

— Вы очень молоды, — наконец сказала она, — в вас много чувства и пылкости, но огню ваших желаний нельзя довериться: огонь погасает так же быстро, как и загорается. Для любви и подвигов нужны огненное сердце и стальная воля. От огня сталь становится крепче. Но я верю, что с годами пылкость ваша умерится, но упорство возрастет. Счастлива тогда будет та, которую вы полюбите — ничто в жизни не будет ей страшно. Но, увы, таких, как вы, все меньше. Все чаще встречаете вы людей разочарованных и равнодушных, разочарованных — от слабости, равнодушных — от пустоты сердца. Все хотят быть Печориными, не имея ни его ума, ни его страсти. Берегите в себе тот огонь, что еще горит

в вас, и не страшитесь казаться молодым. Что может быть лучше молодости?...



При этих словах княгиня протянула мне свою руку, и я бережно, как к святыне, прикоснулся губами к ее пальцам, унизанным кольцами. Я все еще казался себе романтическим героем, и сердце мое взволнованно билось. Подняв лицо свое от руки княгини, я увидал, что княгиня плачет. Губы ее продолжали печально улыбаться, но в углах глаз замерли две слезы.

— Что с вами, княгиня? — испуганно вскрикнул я. — Уж не я ли причина этих слез?..

Но она быстро поднялась со скамьи и ответила поспешно:

— Ах, прошу вас, не обращайте внимания. Слезам этим нет причины. Женщины так непостоянны в своих чувствованиях: вот видите, я уже смеюсь.

И княгиня, точно, начала смеяться весьма искренне, и слезы высохли мгновенно на ее лице.

Недоумевая, я последовал за нею по извилистым дорожкам сада, но более не мог вернуть недавнего своего воодушевления. Княгиня, напротив, казалась вполне спокойной. Она задавала мне тысячу вопросов, я отвечал ей сбивчиво и односложно. Так прошло еще некоторое время, и вскоре звон колокола возвестил нам о том, что пришло время обеда.

Лакей отвел меня в комнату, где подал мне воды, и я, умывшись, несколько пришел в себя. Выйдя в столовую, я застал там князя и незнакомого мне господина, одетого с большим тщанием и вкусом. Князь назвал мне его Андреем Вениаминовичем Лавровым. Он оказался помещиком и любителем живописи.

Впоследствии я мог убедиться, что он и точно был большим знатоком этого искусства. В имении своем он устроил живописные классы, о его коллекции картин знали и в столице. Говорил он медленно, но внятно, не двигая руками и не поворачивая головы. Высокий лоб его был прикрыт светлой прядью волос, весьма необильных на круглом его черепе. Начисто выбритое, по моде прошлого царствования, лицо его отличалось бледностью своею, резкостью черт и выразительностью. Верхние веки тяжело опускались над внимательными серыми его глазами. Ему можно было дать около сорока лет.

Сперва он мне не понравился, потом я его заслушался, а впоследствии стал уважать его. Напротив того, князь нравился мне все менее, хотя в обращении со мною он был все так же любезен и предупредителен, все так же добродушно смотрел он по сторонам.

Княгиня тотчас же стала возражать Лаврову. Он отвечал ей медленно, без волнения, умно; она горячилась и как будто хотела чем-то досадить своему собеседнику. Я все с большим любопытством наблюдал этот словесный поединок. Мне почему-то было досадно видеть волнение хозяйки. Лавров, видимо, не давался ей в руки, ни в чем с нею не соглашался и неизменно подчеркивал свое превосходство — это ее возмущало.

Уезжали Лавров и я вместе. Он любезно предложил пересесть в его удобную венскую коляску. Обиженный Африкан ехал за нами: он находил, что мой тульский тарантас ничуть не хуже коляски, а лошадь куда лучше лошадей Лаврова.

Прохладный ветер веял нам в лицо; сладостный запах полевых цветов нежил и успокаивал.

— Вы впервые видели княгиню Аглаю Егоровну? — спросил меня Андрей Вениаминович между прочим.

— Да, я только сегодня имел удовольствие познакомиться с нею.

О вчерашней своей встрече я говорить остерегся.

— И как она вам показалась?

Лавров не смотрел в мою сторону, тяжелые веки опустились на глаза его.

— Право, судить о ней пока не могу, — смутившись, молвил я, — по наружности она не оставляет желать лучшего.

— Это точно, княгиня хороша, — подтвердил Андрей Вениаминович, не шевелясь, как бы раздумывая вслух, — очень хороша, и плениться ею нетрудно… Она и сложена не хуже… Досадно, когда столь дивное сложение пропадает даром. Но что касается душевных свойств красавицы, то на них пришлось бы посетовать…

— Ужели же они так непривлекательны?

— Сказать того не смею, ибо каждый судит человека по-своему. Одно скажу, не желал бы я никому попасться ей в руки.

— Вы говорите намеками, Андрей Вениаминович, — с оживлением перебил я, — понять вас мудрено. Ум княгини, я думаю, не станете вы оспаривать?.. Она начитана и остра — ваш разговор с нею тому порука.

— И ума ее я не оспариваю, — отвечал Лавров, чуть улыбаясь. — Красота, ум, молодость — свойства ее столь заметные, что о них спорить не приходится. Но не только сии три достоинства красят женщину и ставят ее выше мужчины.

— Что же это такое, Андрей Вениаминович? — вскричал я в запальчивости.

— Сердце, молодой друг мой, всего только сердце.

— И вы станете утверждать, что у княгини нет сердца?

Нет, этому я не мог поверить. Мгновенно представил я себе на скамейке у края бассейна княгиню с блестящими слезами в глазах. Разве человек без сердца умеет плакать?

Лавров усмехнулся соболезнующе. В эту минуту я готов был побить его. Но спутник мой оставался невозмутимым.

— И этого утверждать я не стану, — сказал он, — каждый может убедиться в том на самом себе. Бывает, что и камень источает воду. Но слыхали ли вы о таких женщинах, которых в народе называют «порченными»?

Я с досадою пожал плечами.

— Не понимаю я, к чему относится вопрос ваш… Что общего между княгинею и такого рода женщинами?..

Лавров не успел ответить мне на это. Мы приближались к перекрестку, откуда мне надлежало свернуть в Грушики. Африкан подъехал к коляске. Я стал прощаться с любезным своим спутником. Он крепко, по-английски, пожал мне руку.

— Надеюсь еще раз увидеться с вами. Рад буду, ежели заглянете ко мне, и тогда не упущу случая еще побеседовать с вами…

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Несколько дней сидел я дома и даже не занимался рыбною ловлею. В равнодушии ко всему окружающему, бродил я по саду или валялся в траве, бесцельно глядя в небо.

Матушка моя, заметя сумрачное лицо мое, допытывалась, здоров ли я. Я отвечал, что здоров и что ничто меня не беспокоит. И точно, причины своей равнодушной бездеятельности я не знал. Влюбленности я тоже не чувствовал. О княгине, хотя я и думал эти дни, но больше потому, что Лавров задел мое любопытство. Поволочиться за нею тоже казалось мне бесполезным: князь был и не так стар, и красив, и добр, — мог ли я ждать успеха?

Наконец, мне надоело мерить аллеи нашего сада. Я приказал оседлать моего Коршуна и поскакал в деревню Лаврова.

Андрей Вениаминович принял меня приветливо. Тотчас же заявил, что задерживает меня на несколько дней, что возвращаться сегодня домой я и думать не смею и повел показывать свою школу и картинную галерею.

В школе у него училось пять учеников под

наблюдением живописца из крепостных, Закорлюки. Живописец сей был весьма привержен Бахусу, но, по свидетельству самого хозяина, отличался большим знанием искусства и толковостью. На одного из учеников Лавров возлагал большие надежды — он его прочил в Академию. Ученика этого звали Митенькой. Митенька казался хворым; миловидное лицо его с сияющими глазами было очень бледно, впалая грудь и не по летам высокий рост казали его еще тоньше. Он показывал нам свои рисунки, и точно, делающие ему честь.

За завтраком Лавров оживился; я его еще таким не видал. Он оказался большим любителем тонкой кухни и сам придумывал необычайные закуски.

— Я стараюсь украсить свою жизнь елико возможно, — говорил он мне. — Во всякую мелочь должно вкладывать искусство. В прежние годы я любил путешествия, теперь же предпочитаю уединенный свой угол. В путешествиях больше неприятного, чем приятностей — сталкиваешься невольно с людьми грубыми, останавливаешься в неопрятных отелях, вкус свой оскорбляешь уродством. Здесь же, елико возможно, все служит моим вкусам и привычкам. Я постарался удалить

от себя все, нарушающее гармонию, возмущающее чувство, а на Руси, где до сего дня процветает рабство, это особливо трудно. Искусство делает человека свободным, окрыляет дух его. Ни один раб мне не служит и, как видите, от того я ничуть не терплю нужды. Наука у нас на подозрении, просвещать народ — значит проповедовать крамолу. Я веду учеников своих к познанию другими путями, и никто не может меня заподозрить, ибо я воспитываю в них любовь к свободе, уча росписи храмов.

Я слушал Лаврова со вниманием. Многое в речах его казалось мне неясным, поражало новизной своею, но не слушать его и не сочувствовать ему я не мог — он, несомненно, был человеком незаурядным и благородным мечтателем. Все же мне хотелось, чтобы он скорее вернулся к разговору, начатому нами в первую нашу встречу.

— Андрей Вениаминович, — начал я, когда собеседник мой на время умолк, задумчиво пыхая трубкою, — вы только что изволили сказать, что искусство облагораживает, возвышает душу. Как же понять тогда, что такие просвещенные люди, как, например, княгиня, все же не свободны от упреков? Помнится, прошедший раз назвали вы княгиню бессердечною… Как сочетать любовь к

прекрасному с черствостью сердца?

Лавров улыбнулся своей печальной и вместе насмешливой улыбкой.

— Я так и думал, что вы повернете разговор наш на княгиню, — сказал он, — она любимейший предмет для разговора молодежи нашей. Но связали вы ее с предыдущим разговором неудачно. Княгиня мало любит искусство; к тому же, нетрудно вспомнить Борджиа и Медичи, чтобы убедиться в том, что жестокость и любовь к прекрасному часто сочетаются в одном человеке… Но это ничуть не противоречит высказанным мною взглядам… Что же касается княгини, то, право, мой добрый совет вам меньше о ней думать. Соединяя в себе миловидность с некоторой долей кокетства, она может вскружить слабую молодую голову, но отвечать на искреннее чувство столь же горячим чувством она не в силах… А ежели я в прошедший раз назвал ее бессердечной, порченой, то просто потому, что в запальчивости не взвесил слов своих…

Последнее сказал Лавров, видимо, с усилием. Я заметил, что разговор о княгине ему неприятен. Он поднялся с места и зашагал по комнате. Я не прерывал молчания, разбираясь в новых своих мыслях. Солнечные пятна колебались на воще-

ном полу и скатерти. Из распахнутых окон несся птичий щебет — ничто другое не нарушало покоя летнего полдня. Андрей Вениаминович перестал ходить по горнице. Он подошел к окну, посмотрел на двор и сказал с горестной задумчивостью:

— Сердце наше и чувства не подчиняются разуму. Как часто мы сознательно идем на дурные поступки только потому, что не можем противиться сердцу, а сердце плохой советчик.

Лавров говорил еще что-то, но я его плохо слышал. Мой слух привлек конский топот. Я поднялся с места и пошел взглянуть в окно на дорогу. Каково же было мое изумление, когда я увидал скачущую к нам на верховом коне княгиню Аглаю Егоровну.

— Андрей Вениаминович, — воскликнул я, — глядите, кто к вам пожаловал.

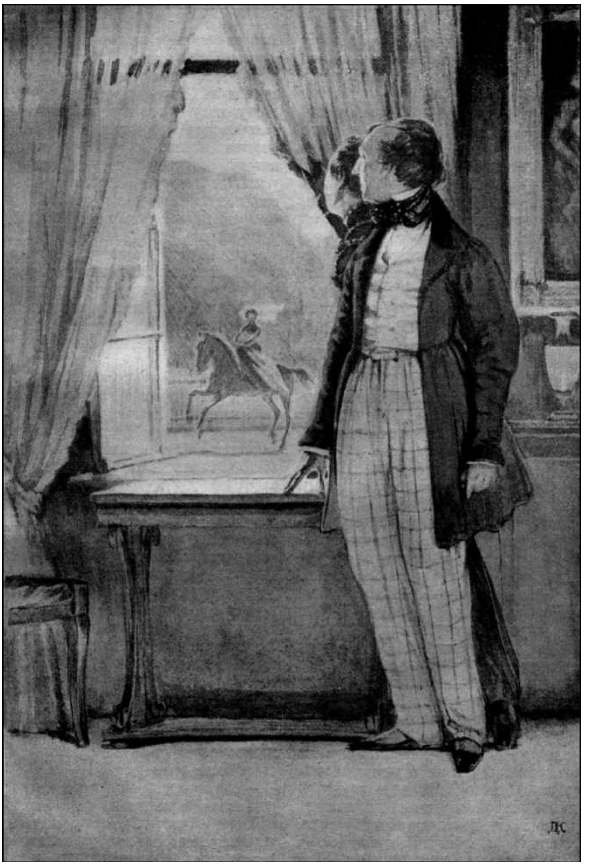
Лавров вздрогнул, выведенный из своей задумчивости. Подняв голову и подойдя ко мне, так как окно, в которое смотрел он, выходило на другую сторону, он посмотрел на дорогу и отвечал без особого удивления:

— Да, это княгиня. Она ездит сюда частенько. Митенька пишет ее портрет, тайно от князя: ему княгиня готовит сюрприз.

Новость эта крайне меня поразила, хотя в ней,

казалось бы, не было ничего примечательного.

Я только удивлялся тому, что раньше мне об этом Лавров ничего не говорил.



Всадница была уже совсем близко. В жизнь свою не видал я лучшей посадки. Княгиня точно слилась с лошадью. Белый газ на высокой шляпе один развевался по-своему, точно боевое знамя. Мое кавалерийское сердце шибко забилось. Впервые я понял, что ему может грозить опасность быть плененным. Лавров все продолжал стоять рядом со мною, точно позабыв идти навстречу гостье. Я обернулся и посмотрел на него с вопросом. Он тотчас же ответил:

— Княгиня сейчас не зайдет сюда. Она проедет прямо в мастерскую. Так у нас заведено, и я не смею нарушать ее желание. Но иногда после сеанса она делает мне честь откушать чашку чая, хотя это случается редко. Княгиня весьма осторожна и боится лишних толков. Сегодня же, пожалуй, если угодно, я могу предуведомить ее о вашем присутствии и, надеюсь, она не откажется повидаться с вами.

Тем временем княгиня въехала во двор и, минуя барский дом, остановилась у флигеля, где помещалась мастерская. На крылечко тотчас же выбежал Митенька. Он суетливо помог княгине сойти с лошади и, низко склонившись, долго целовал протянутую ему руку. Когда оба они скрылись, Лавров отошел от окна, взял поспешно

графин, налил себе вина, жадно выпил его и сказал мне с любезною улыбкою:

— Я думаю, что вы не откажетесь теперь отдохнуть до обеда. Пойдемте, я отведу вас в приготовленную вам комнату. В такую пору приятно отдаться дреме и ни о чем не думать. Я сам тотчас же последую вашему примеру. Томик Шенье ждет меня у моего изголовья. Когда же княгиня будет свободна, вас придут предупредить об этом.

Я не возражал, хотя и не имел привычки спать днем. С большим удовольствием пошел бы я побродить по саду — таинственный флигель, где скрылась княгиня, невольно привлекал мое внимание. Но настойчивость Лаврова, его любезная предупредительность заставили меня уступить. Мне не хотелось нарушать установленного им порядка дня. К тому же я успел заметить, что хозяин мой был чем-то взволнован, хотя и пытался не показать виду.

Мы поднялись наверх, где находилась комната для приезжающих. Прохладный сумрак от спущенных штор разлит был в ней и невольно располагал к отдыху. На столе у кровати стоял жбан холодного кваса.

— Располагайтесь по-своему, — сказал Лавров и вышел вон,

Я сперва присел на стул, потом заглянул за занавешенное окно — зеленые купы деревьев густо раскинулись передо мною, заслоняя усадебные строения и мешая моему любопытству. От нечего делать я, наконец, лег на кровать. Мысли о княгине, о Лаврове не давали мне покоя. Все казалось неясным, таинственным и полным значения. Юной голове всюду чудятся тайны, к тому же образ княгини-амазонки настроил меня романтически. Так, в смутных мечтах и полудреме, я пролежал весьма долго. Наконец, и это мне порядком наскучило. Никто еще не приходил звать меня, а мне казалось, что уже близко обеденное время. Я выпил квасу, оправился и вышел из комнаты. Точно не зная дороги, я спустился по лестнице и вышел в первую попавшуюся дверь. Она вела в большой белый зал с хорами. Я пересек залу и, приподняв тяжелый занавес, спускающийся с арки, очутился в гостиной. В ней, как и в зале, никого не было. Шаги мои заглушал ковер, растянутый по всему полу. Оглядевшись, я невольно залюбовался редкостными вещами, расставленными в этой комнате, и потому невольно вздрогнул, когда услыхал совсем близко от себя неожиданный возглас:

— Нет, ты этого не сделаешь!

Поспешно обернувшись, я увидал входящих в гостиную княгиню, а за ней Лаврова. Возглас, услышанный мною, вне сомнения, принадлежал последнему. Он же первый заметил меня и тотчас же остановился, закусив губу.

— Ах, вы здесь, — сказал он смущенно.

Княгиня подняла голову и тоже остановилась. Некоторое время мы все трое молчали. Я готов был провалиться сквозь землю. Первая нашлась княгиня. Возбужденное лицо ее просияло. Она, улыбаясь, подала мне руку и молвила искательно:

— Ах, как я рада застать вас здесь. Вы, конечно, не откажетесь сопровождать меня до дому: у меня к вам большая просьба, вы должны будете ее исполнить. Андрей Вениаминович дал уже свое согласие. Он только что репетировал свою роль.

Ошеломленный, пристыженный, стоял я перед княгинею, не зная, что ответить. Я не знал, верить или не верить глазам своим и слуху. Все та же княгиня вывела меня из замешательства. Она обратилась к Лаврову и непринужденно просила его отпустить меня с нею.

— Проводив меня, Алексей Васильевич вернется к вам снова.

Андрей Вениаминович, принужденно улы-

баясь, сказал, что не смеет меня задерживать. Спустя немного времени княгиня и я выезжали за ворота усадьбы.

Вороной конь Аглаи Егоровны шел крупной рысью, я следовал за ним на полкорпуса.

Я все еще не мог понять, зачем понадобилось княгине звать меня с собою: мы успели проехать более версты, а спутница моя не промолвила ни слова. Поведение ее казалось весьма странным.

Наконец, мы достигли густого леса, скрывшего нас от несносных лучей солнца. Княгиня внезапно остановилась а спрыгнула наземь.

— Мы отдохнем здесь, — сказала она решительно, — садитесь рядом и слушайте.

Я опустился у ее ног на траву. Она посмотрела на меня долгим взглядом и спросила глухим голосом:

— Вам не жаль меня?

Но что мог я ей ответить? Право, судьба хотела посмеяться надо мною, сплошь задавая мне неразрешимые задачи.

— А я так несчастна, — снова промолвила княгиня.

Голова ее склонилась, руки упали на колени. Мне казалось, что она плачет.

— Как жестоко должна я платиться за ошибку

молодости, — едва слышно прошептала она.

Я осмелился взять ее за руку.

— Княгиня, Богом заклинаю вас — не убивайтесь. Будьте со мною искренни и вполне рассчитывайте на меня.

Мне ответили сквозь слезы:

— Да, конечно, я вам верю. Так знайте, что есть человек, который, пользуясь моей слабостью, хочет сделать мне зло. Когда-то я имела неосторожность любить его и оставила ему в том доказательство. Теперь он требует от меня любви, которая во мне давно угасла, и в залог своего намерения хранит эти доказательства.

Я перебил ее, от души возмущенный:

— Но кто же подлец этот?

Княгиня отвечала, приближая ко мне лицо свое:

— Ах, мне трудно назвать его — вы сами можете догадаться. Но верьте, я не стала бы говорить вам этого, если бы… я не почувствовала новой любви — неизъяснимой… Мне не страшен гнев мужа, я всегда готова уйти от него, но перед этой новой любовью я хочу быть чистой, незапятнанной…

Глаза ее закрылись, лицо пылало, я чувствовал жар его на своей щеке, я ощущал сухое дыхание, вырывающееся с прерывистой речью с запек-

шихся губ княгини.

Я невольно потянулся к ней всем существом своим. Руки мои охватили ее стан — время для нас более не существовало.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Я не вернулся в усадьбу Лаврова. Свидание с ним было бы тягостно.

Приехав домой, я тотчас же написал письмо Андрею Вениаминовичу. Оно было коротко, но решительно. «Сударь, — писал я, — долг дворянина и офицера повелевает мне встать на защиту оскорбляемой вами особы, имя коей хорошо вам известно. Она взяла меня в свидетели ваших отношений к ней и я, поверьте, не отступлюсь от оказанной мне чести. Будьте благородны, как подобает дворянину, и верните то, что более не принадлежит Вам — свободу женщины и доказательства ее угасшей любви. Взамен сего я предлагаю Вам свою готовность ответить жизнью, когда и где будет угодно».

Письмо это тотчас же было мною послано с Африканом к Лаврову. Поздно ночью верный мой кучер вернулся с ответом: «Завтра в шесть утра у Барсучьих горок. Лавров».

Записка эта несколько смутила меня. Я ждал объяснений и более подробных условий дуэли, я ждал секундантов противника и сам долго перебирал в памяти имена тех, кого бы я мог

выбрать в свои секунданты. Теперь же думать об этом было бесполезно. Оставалось лечь спать и предоставить все времени и случаю.

На туманной заре выехал я верхом из дому. Африкан трухтил за мною в отдалении. Я чувствовал себя настоящим героем и восторженно повторял имя своей героини. Не доезжая березовой рощи у Барсучьих горок, я слез с лошади, передал ее Африкану и наказал ему здесь дожидаться, а сам пошел дальше. Поднявшись на холм, поросший кустами, я увидел Лаврова. Он сидел на траве и собирал землянику. Лицо его было, по обыкновению, невозмутимо. Увидав меня, он поднялся и, улыбаясь, пошел мне навстречу. Я чопорно отдал ему честь.

— Как видите, ваша просьба исполнена, — сказал я холодно, — потрудитесь сообщить мне свои условия. За недостатком времени, не мог я прислать своих секундантов, а всякое промедление с моей стороны вы имели бы основание почесть за нерешительность.

Лавров, не оставляя улыбки своей, отвечал спокойно:

— Весьма признателен вам за это. Предмет нашего спора столь щекотлив, что мне бы было крайне нежелательно вмешивать в него кого-ли-

бо постороннего. Не удивляйтесь, но выслушайте меня. Я человек свободных, независимых взглядов и думаю и в вас найти не узкого педанта. Судите сами, где обычный повод к поединку — его у нас нет, мы не оскорбляли друг друга и перед светом честь наша не запятнана, следовательно, и восстанавливать ее перед светом нам не надобно. Затронута честь женщины, священная для нас обоих. Мы, как рыцари, должны заступиться за нее и поединок решит, кто из нас более дорожит этой честью. К чему же в таком случае свидетели? Люди всегда имеют склонность принижать все высокое — их вздорные пересуды могут только повредить той, во имя которой мы готовы биться. Мы не разбойники и не предатели и можем верить друг другу. Это небо будет нам вполне надежным свидетелем. Вот мои пистолеты, вот порох в пули, выбирайте любой и сами забейте заряд. Расстояние, я думаю, безразлично Пуля найдет того, кого ей нужно.

Лавров умолк и нагнулся над ящиками, где лежали пистолеты. Я несколько минут стоял неподвижно. Слова противника моего, которого считал я за минуту низким, пробудили во мне иные мысли. Я показался себе внезапно опрометчиво горячим и несправедливым. Говорить так,

как говорил Лавров, мог только человек благородный. Юношеский задор мой остыл мгновенно, я чувствовал себя точно школьник, коему прочел наставник нравоучение. Пылкость моя толкала меня в другую крайность: я готов был кинуться к Андрею Вениаминовичу и пожать ему руку. Но вовремя остановился. Поединок должен был состояться. Принимая его, я тем самым показывал, что верю безупречности Лаврова и высоко чту доброе имя доверившейся мне женщины. «Она меня любит, — подумал я, радостно волнуясь, — разве это не самое большое доказательство ее доверия?»

Мы приготовили пистолеты, разошлись на десять шагов и условились разом громко считать до трех.

Когда мы сказали «два», я опустил пистолет и молвил в смятении:

— Нет, я стрелять не могу.

— Почему? — спросил Лавров.

— Потому, что считаю вас правым безусловно, а целить в воздух значило бы нанести вам оскорбление и поединок обратить в жалкую комедию. Лучше стреляйте вы один.

— Это ваше последнее слово?

— Да, последнее.

— Но вы должны понять, — сказал Лавров с настойчивостью, — что один я стрелять не стану; поединок же не может не состояться, ибо честь женщины затронута; мы отвечаем за нее и не смеем от того отказываться. А потому, вот вам новое условие: мы будем стреляться, закрыв глаза, и этим всецело предоставим решение самой судьбе.

На это у меня не нашлось возражений. Я покорно закрыл глаза, и мы снова стали медленно и громко отсчитывать — «раз», «два»... «три». Решающее «три» заглушено было выстрелами, но они не оказалась роковыми: мы оба остались живы и невредимы. Так распорядилась за нас мудрая судьба.

Пожав друг другу руки, мы тотчас же разошлись в разные стороны. Говорить сейчас было не о чем, да и вряд ли это доставило бы нам удовольствие. Мы засвидетельствовали друг перед другом свое уважение, но все же приятелями оставаться не могли.

Надо ли говорить вам, что с этой минуты сердце мое безраздельно принадлежало княгине? Я только о ней и мог думать. Мне дано было жить, а следовательно и любить ту, ради которой готов я был жертвовать своей жизнью. Все вокруг меня

казалось мне по-иному прекрасным, все дышало неизъяснимой прелестью. Молодое тело мое радовалось невольно возможности отдаваться жизни.

В тот же день встретился я с княгинею на условленном месте.

— Лавров невинен, — сказал я с убеждением, — у него нет ничего, что могло бы тебя опорочить. Ты свободна и я верю любви твоей.

Аглая вскрикнула и прижала к груди своей мою голову.

— Ты жив, ты жив, — повторяла она, — больше мне ничего не нужно.

Наши встречи стали очень часты. Каждый день, а то и по два раза на день, виделись мы с княгиней.

Я все больше пылал к ней страстью; она, со своей стороны, точно искала новый повод доказать мне свою любовь. Страсть ее не знала границ и казалась ненасытной. Но молодость ни в чем не хочет знать меры. Меня уже не тешила одна страсть — я хотел владеть любимым существом безраздельно.

— Ты говоришь, что любишь только меня и ненавидишь мужа — что же мешает нам соединить нашу судьбу навсегда?

Княгиня не отвечала мне, но, смеясь, целовала мне руки.

Я продолжал стоять на своем. Она обещала подумать об этом.

— Шаг этот очень труден, — сказала она задумчиво, — но верь мне, что не недостаток любви заставляет меня колебаться. Не торопи меня, все придет в свое время.

Она стала необычно грустной, взгляд ее угас. Я, встревоженный, стал допытываться о причине. Вместо ответа она с силой прижала меня к себе и закрыла мне рот поцелуем.

После того два дня подряд я не застал Аглаю на обычном месте.

Обеспокоенный, я готов был ехать в имение князя, но, поразмыслив, раздумал и решил написать княгине письмо. В нем я говорил о своей тревоге, о тоске, о неизменной любви и с жаром доказывал, что долее нельзя нам скрываться, что живем мы только раз, что грешно отнимать у страсти то, что принадлежит ей по праву, что мы должны бежать отсюда и, найдя укромный приют, посвятить себя любви своей.

Письмо было восторженно, сумасбродно, глупо, быть может, но безусловно искренно. Юноша в двадцать лет, охваченный впервые страстью, все-

гда найдет доказательства самым сумасбродным своим желаниям.

Неизменный, верный Африкан снова был моим почтальоном. Ему приказал я передать письмо с рук на руки княгине и так, чтобы никто не видел. Он в точности исполнил приказ и благополучно принес ответ.

Аглая писала, что сама понимает и разделяет мое желание и все усилия приложит для его выполнения. Но что теперь мы должны не видеться несколько дней, чтобы не возбудить подозрений. Меня же очень просит прибыть к обеду на именины князя и тогда-то решим, как поступить дальше.

Со вздохом должен был я принять решение княгини и ждать намеченного дня. Но внезапно ревнивая мысль подвинула меня ехать к Лаврову: быть может, Аглая все еще ездит в мастерскую к Митеньке, и там, хоть издали, я ее увижу.

Но расчеты мои не оправдались. Княгиня не приехала.

Лавров по-прежнему встретил меня учтиво, но разговор наш непрестанно прерывался. Никто из нас не высказывал того, что более всего его интересовало. Наконец, я осмелился спросить:

— Готов ли портрет княгини?

— Да, готов, — отвечал Андрей Вениаминович, и странная улыбка мелькнула на его строгих губах, — послезавтра именины князя и княгиня поднесет ему этот портрет. Митенька ходит, как потерянный — теперь всякая модель кажется ему неинтересной…

Посидев еще короткое время, я собрался домой.

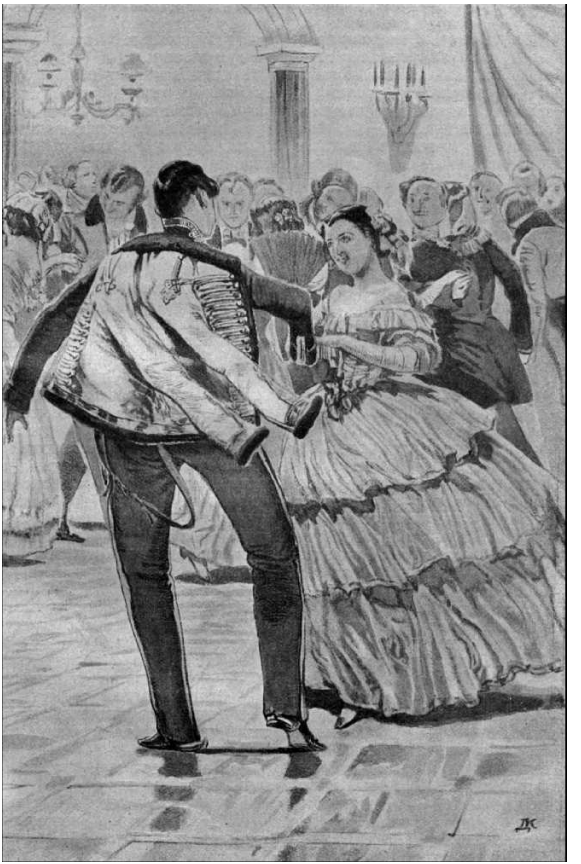
— Так, значит, мы с вами встретимся на вечере? — спросил меня Лавров, пожимая руку и глядя на меня пристально и как будто с участием.

— Да, конечно, — отвечал я поспешно и отводя глаза.

Незначащие слова Андрея Вениаминовича почему-то приводили меня в замешательство. Сердце мое билось неровно, охваченное дурным предчувствием.

Наконец, вожделенный день наступил. При полном параде явился я в усадьбу князя. Весь уезд съехался поздравлять своего предводителя. Каких только лиц не увидал я здесь! Со многими я был знаком ранее и теперь приходилось мне оправдываться в том, что так долго не мог к ним собраться. И тут раненая рука моя меня выручила. Батюшка мой, приехавший со мною, поддерживал мои извинения. Но от барышень отделаться было мудренее. Они не верили моей

болезни, грозили мне пальчиком, смеялись и требовали, чтобы я открылся им, в кого я влюблен. Краска смущения на лице моем выдавала меня с головой. Я злился, не смея высказать своего раздражения и понимая, что во весь этот вечер мне не придется побыть наедине с княгиней. Только издали можно было любоваться ею: она принадлежала всем, ко всем обращена была ее улыбка, для всех у нее было ласковое слово.



Только начавшиеся танцы немного рассеяли мрачные мои мысли. Плясал я, как истый ахтырец, а известно, что ахтырцы в лихой атаке, в дебоше и танцах — первые. Княгиня назначила мне танцевать с нею экосез. Тогда-то она и успела сказать мне, чтобы я ждал ее завтра, под вечер, на перекрестке.

— Наконец-то я буду принадлежать тебе всецело, — сказала она глубоким шепотом.

Бешеный вихрь подхватил меня при этих словах. Я потерял голову от счастья и готов был на всякие безумства. Свет свечей казался мне солнечным сиянием, музыка — райскою музыкой.

За ужином я от всего сердца поднял свой бокал за здоровье князя — я уже готов был любить его за то, что сам был безмерно счастлив.

— Можно подумать, что не князь, а вы сегодня именинник, — обратился ко мне Лавров со всегдашнею своею улыбкой, — лицо ваше до зависти счастливо.

— Да оно так и есть, — отвечал я, — я безбожно счастлив.

После ужина князь показал всем портрет княгини. Она предстала перед нами, как живая. Все громко высказывали свое восхищение. Князь благодушно радовался.

«Пусть тешит себя хоть этим», — думал я со снисходительностью самообольщения, глядя на подлинник портрета, как на свою собственность.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Все следующее утро и день занят я был сборами в дальний путь Посвященный в предприятие, мой Африкан тщательно исполнял мои предначертания. Несколько раз садился я пересчитывать имеющиеся у меня наличные деньги и каждый раз обсчитывался — их казалось мне слишком мало.

Но что делать, приходилось мириться и на этом. В будущем я надеялся как-нибудь сговориться с батюшкой и положиться на его великодушие. Когда все было готово, я вышел к матушке, думая поговорить с нею перед разлукой. Невольная грусть охватила меня, когда я подумал, что, может быть, опять надолго расстанусь с дорогими стариками, с родным гнездом. Но мысль о том, что вот сейчас я навсегда соединю свою судьбу с Аглаей, загасила во мне последние сомнения. Беспечно поцеловал я старушку, сказав ей, что еду погостить к Лаврову, и поспешно вышел во двор, где поджидал меня Африкан, уже снаряженный в дорогу, озабоченно осматривающий добрую тройку, впряженную в просторную дедовскую коляску.

Я сел, осмотрел под фартуком схороненные вещи, перекрестился, последний раз глянул на окна отчего дома, горящия отражением пышного заката, и крикнул: «Пошел». Бубенчики звякнули и заголосили, кони понеслись вскачь.

До перекрестка насчитывалось не более трех верст, они проскочили незаметно. Солнце не успело погаснуть, когда лошади остановились.

Я вылез из коляски и стал прохаживаться около. Княгини еще не было, и далеко, как видал глаз, дорога не пылила. Нужно было вооружиться терпением. Но чем дальше текла минута за минутой, тем сердце билось тревожнее. Стрекотание кузнечика в душистой траве, шелест крыльев пролетавшей в вечернем сумраке птицы, однообразный крик перепела, зарево от разложенных косарями костров, трепет звезд в прозрачной выси, пофыркивание тройки — все вызывало во мне болезненный отклик, усугубляло мое нетерпение. Но когда я меньше всего ждал этого, послышался поспешный топот копыт и в коляску с разбега уперлась взмыленная лошаденка. На ней сидел взлохмаченный парнишка.

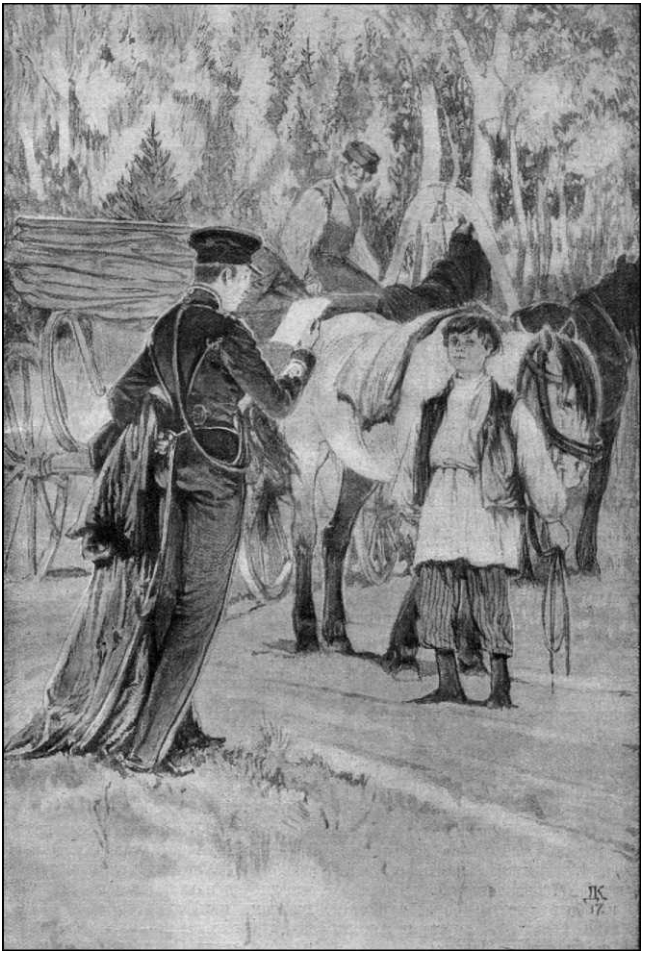
— Что надо? — спросил я его, и сердце у меня упало.

— Мне надо барчука из Грушиков, — бойко

ответил парнишка.

— Он перед тобою, — перебил я.

Парнишка осмотрел меня недоверчиво с головы до ног и не спеша полез за пазуху.


JK
17

— Вам записка, — сказал он важно и раздул щеки.

Я вырвал у него из рук конверт и, отойдя в сторону, непослушными пальцами вскрыл его. В сумерках читать было трудно, к тому же строчки прыгали у меня перед глазами. Но смысл послания тотчас же стал мне ясен. Скомкав письмо в руке, я некоторое время стоял в оцепенении. Жаркая кровь ударила мне в виски — было и горько, и больно, и нестерпимо стыдно. В бессилии скрипел я зубами. Наконец, придя в себя, поспешно кинулся в коляску и приказал гнать лошадей. Африкан смотрел на меня в удивлении и с сочувствием.

— Куда прикажете? — повторил он несколько раз.

— Куда хочешь, — сквозь зубы ответил я и, точно от холода, глубже ушел в воротник шинели.

Душа моя погрузилась в беспросветный мрак, мысли мои кружились в бешеном вихре. Тысячу решений принимал я в одно мгновение, сотню раз видел себя умершим и вновь оживающим для убийства.

Внезапно чей-то оклик вернул меня к действительности. Я поднял голову и увидел, что мы стоим на месте, что кругом меня густые летние

сумерки и что кто-то стоит передо мною и трясет за полу шинели.

— Да никак вы заснули? — услышал я знакомый голос и, взяв себя в руки, тотчас же признал в нем голос Лаврова.

— Добрый вечер, — говорил Андрей Вениаминович, — не ко мне ли изволите ехать?

Пристыженный, я отвечал, не подумав:

— Да, кажется, что к вам.

Лавров засмеялся от души, Африкан усмехнулся вслед за ним.

Я готов был вспылить, но нежданно для себя вдруг почувствовал необходимость побыть с Лавровым, поговорить с ним, найти в нем сочувствие. Снова охватило меня отчаяние, но более тихое, более глубокое. Невольно искал я друга и готов был найти его в Лаврове.

Он понял, должно быть, мое состояние и сказал ободряюще:

— Вы, как видно, не в себе, да это пустое. Прошлый раз я подвез вас, а теперь, надеюсь, вы не откажетесь подвезти меня — я шел пехтурою и порядком устал. Поедем ко мне, я вас такими пельменями угощу, что вы пальчики оближете.

Невольно улыбнувшись его посулу, я дал ему место рядом с собою и мы тронулись вперед.

Африкан весело загикал (он, видно, решил, что все уладилось к лучшему); бубенчики затараторили, кони прибавляли ходу.

Всю дорогу проехали мы в молчании. Лавров ни о чем меня не расспрашивал и я был признателен ему за это. Мне еще нужно было пережить все в самом себе.

Когда же мы приехали, Андрей Вениаминович провел меня в столовую и предложил закусить и выпить. Он налил мне большую чарку полынной и молча чокнулся со мною. Я с поспешностью глотнул крепкую водку, думая поскорее напиться. Лавров сочувственно подмигивал. Вскоре принесли пельмени, но от них я отказался — еда была мне противна. Но все же я чувствовал значительное облегчение — полынная оказалась крепче полыни, отравившей мое сердце. Андрей Вениаминович заметил, что я стал спокойнее, и, подойдя ко мне, сказал с дружеской простотою:

— Можно ли с вами говорить теперь вполне откровенно?

— Конечно, — воскликнул я, — очень прошу вас об этом.

Тогда Лавров придвинул ко мне кресло, сел и сказал следующее:

— Все, что вы услышите — чистейшая правда,

потому не взыщите, если что-нибудь покажется вам чрезмерно прямым и резким. Я сам решился на это только потому, что вижу в вас человека благородного, а не пустого фата. Вы поступали, как должно поступать человеку, помнящему, что честь превыше всего, а особливо честь женщины. Я всегда стремился к тому же. Вас посвятили в мои отношения к известной вам особе, а потому сейчас я и имею право говорить с вами о них, не опасаясь показаться нескромным. Поединок наш подтвердил нам, что оба мы одинаково понимаем свои обязанности… Вы сказали, что верите мне безусловно. Теперь я хочу показать вам, что вы имели и точно основания верить мне. Вы пережили сейчас тяжелые минуты и я в свое время пережил их по одинаковому поводу. Мы можем говорить без утайки, открыто, не подозревая лжи и злого умысла друг в друге. Наконец, мы твердо знаем, что весь разговор этот останется между нами.

Лавров умолк, глядя мне прямо в глаза, я ответил ему тем же взглядом. Договор тем самым был заключен.

— Прежде всего, — продолжал Лавров, — я должен сказать вам, что у вас то преимущество передо мною, что вы, пережив горе и разочаро-

вание, найдете новые радости и новое счастье, тогда как я обречен нести свое горе и свою боль до конца моих дней. Любовь ваша была коротка, но зато и безоблачна. Испытав разочарование, вы не захотите испытать его вновь и вновь, особливо после того, что сейчас услышите. Я же оказался слабее вас, а, быть может, обстоятельства оказались сильнее меня и запутали в свои сети. Любовь моя — мой крест, в счастье моем больше терний, чем роз. Не смею думать, что любил я сильнее вашего. Кто знает меру любви? Для одних чаша ее горька, для других слаще меда, но никто не захочет обменяться с другими своей чашей. Я любил Аглаю Егоровну, как умел… Время не убивало моей любви. Княгиня покорилась ее силе. Я верил, что она тоже меня любит. Мы, наконец, установили безмолвное соглашение. Я уверил Аглаю, что лгать мне бесцельно. Она убедилась, что ее увлечения не охладевали моей любви и что скрывать нечего. Она сделала меня своим поверенным и часто в моих объятиях признавалась мне в новых своих привязанностях. Судите сами, что должен был я переживать в эти минуты. Но я знал, что Аглая всегда вернется ко мне — сила моей любви притягивала ее. Вскоре горечь измен ее превратилась для меня в сладкую отраву.

Сколько раз хотел я уйти от этой любви и не мог. Я был и палачом, и жертвою. Сколько раз хотел я наложить на себя руки, сколько раз замышлял убийство. Но, как видите, до сих пор я жив и не убийца. Не знаю, что чувствовала княгиня. Должно быть, она ненавидела меня, потому что я был всегда перед нею; но все же порвать со мною не имела сил. Часто доводил я ее до слез. Она клялась мне, что исправится, но сердце ее не хотело знать рассудка, страсть делала ее безвольной. Часто удавалось мне предупреждать ее увлечения, но чаще предостережения мои не достигали цели. Так было и тогда, когда она увлеклась вами. Я требовал, чтобы она оставила вас. Я тотчас же угадал в вас человека прямого, искреннего, для которого чувство свято. Я знал, что вас ждет впереди, предвидел, как тягостно отразится на вас внезапный разрыв и думал затушить искру в самом начале. Мне это не удалось…

Я радуюсь, что хотя сейчас могу помочь вам. Недаром стерег я вас на дороге — мое сердце чуяло, что все это разрешится сегодня.

Лавров замолк и на минуту закрыл глаза. Я с трепетом и изумлением смотрел на него. Мое личное горе казалось мне сейчас незначительным в сравнении с тем, что переживал Андрей

Вениаминович.

Он, казалось, забыл о моем присутствии. Глаза его были закрыты, губы плотно сжаты, лоб бледен. Мысли его, казалось, далеко ушли от меня, глубокая скорбь проглядывала во всем его облике. Я не смел его потревожить, не смел перебить молчание. Так сидели мы долгое время. Наконец, я вымолвил:

— Теперь я понимаю, Андрей Вениаминович, почему говорили вы мне о порченых… Другого и быть не может, но почему же тогда так искренне говорила она о своей любви? Зачем было прикрывать свою страсть столь возвышенным чувством? Зачем было уверять в том, что привязанность ее неизменна? Зачем ласкать человека надеждой, назначать срок, когда надежда эта может осуществиться, и так жестоко насмеяться над всем?

Лавров полуоткрыл глаза и ответил с печальной улыбкой:

— Ах, молодой друг мой, мы всегда обольщаем себя мыслью, что нас, именно нас, любят по-иному, чем других, что нас не могут обманывать. Вам особливо кажется это немыслимым. Вы молоды и принимаете все слишком всерьез. Вы не верите, что для иных слова — пустые звуки, коими можно украсить любой поступок. Где же встретите вы

женщину, признающуюся вам, что ее влечет одна только страсть? Какая прелестница не захочет казаться романтичной? Как сами отнеслись бы вы к той, которая пришла бы к вам неприкрытой? Вы назвали бы ее бесстыдной. Умейте же пожинать плоды, вами посеянные.

Лавров видимо оживился, его снова охватило волнение. Он заговорил громче и с большею силою:

— Хотите, перескажу я вам весь ваш короткий роман? Только не вы, а я буду его героем. Быть может, тогда покинет вас опасное самообольщение… Я полюбил княгиню с первой встречи и едва смел мечтать назвать ее своею. Я вздыхал, млел, говорил вздор, словом, был глуп, как подобает быть влюбленному. Наконец, побуждаемый обстоятельствами и самою княгинею, я почувствовал в себе мужество признаться ей в своей любви. Аглая ответила мне тем же. Я почувствовал себя счастливейшим из смертных. Мы наслаждались любовью, но я был глуп, смел и самонадеян, как все мужчины. Я стал домогаться большого, во мне развилось чувство собственности, которое принималось мною за благородство Я начал настаивать на необходимости совместной жизни. Необходимость таиться и скрывать

от других свою любовь — я называл унижением. Я ни о чем другом не хотел думать, ничего другого не хотел слушать, никакие убеждения на меня не действовали. Аглая умеряла мой пыл, просила быть осмотрительнее, но, конечно, не могла не разделять моего желания. Какими оскорблениями осыпал бы я ее, ежели бы она открыто призналась мне в нежелании своем покинуть мужа! Может быть, впервые поняла она, что нас надлежит обманывать. Я становился все настойчивее, никакие ласки не могли удовлетворить меня. Ей пришлось уступить. Она назначила мне день побега… Это было в рождественский пост, в студеную пору. Я стал готовиться в далекий путь. Мы должны были встретиться на почтовой станции. В намеченный час я был на постоялом дворе. «Приехала ли княгиня?» — спросил я у смотрителя. «Да они изволили уже отбыть», — отвечал он невозмутимо. «Что ты врешь! — закричал я. — Куда могла она уехать?» «Зачем же врать, сударь, — возразил смотритель, — сам я заказал лучшую тройку… а поехали они по московскому тракту вместе с князем». Посудите сами, как должен был я принять эту весть. Мне казалось, что я лишился рассудка. Целый месяц просидел я запершись и никого не хотел видеть. Отчаянию моему

не было предела. Я терялся в догадках. Бегство княгини казалось мне диким и необъяснимым. Наконец, мне доложили, что княгиня и князь вернулись в имение. Я забыл все — и осторожность, и самолюбие — и помчался в Ка-литино. Князь встретил меня, по обыкновению, дружески, Аглая казалась изумленной. Оставшись наедине с нею, я стал молить ее объяснить мне, что значило ее внезапное бегство, как могла она быть так жестока и чем вызвана эта жестокость. Княгиня казалась смущенной, оскорбленной, она не знала, что сказать. Потом спросила, ужели же письмо ее недостаточно ясно объяснило мне всего. «Какое письмо?» — воскликнул я. «Письмо, которое я передала вам на станции», — спокойно отвечала она. Тут пришла моя очередь удивляться. Я смотрел на Аглаю во все глаза. Я никак не думал, что она может лгать так неискусно. «Как не грешно вам так шутить надо мною, — сказал я с горечью, — ужели любящий вас столь искренно недостоин большего? Не достаточно ли вам моих страданий? Ужели не подумали вы, как жестоко взманить человека счастьем и лишить его всего, даже последнего утешения проститься перед разлукой?.. Хоть издали проводить взором...» Княгиня не дала мне окончить. Она негодующе

поднялась с места и молча вышла из комнаты, а я уехал домой еще более подавленный. Но через несколько дней княгиня сама ко мне приехала. Она казалась расстроенной, смущенной. Она заплакала даже, упав головой мне на грудь, и упрекала меня в том, что я назло ее обманываю: «Все равно, я не уйду от тебя, если хочешь, не заставляй только меня бросать мужа. Я люблю тебя по-прежнему, но зачем ты говоришь, что у тебя нет моего письма, которое я тебе передала перед разлукой?»

Бессвязная речь ее все больше меня пугала и вызывала во мне жалость. Не может быть, чтобы она помешалась; зачем же в таком случае, так солгав ради своего оправдания, настаивать снова на том же? Я постарался как можно вразумительнее разъяснить ей это. «Как могла ты передать мне письмо на станции, когда я не застал тебя?» Но Аглая плакала и стояла на своем. Я не мог ей верить и она мне не верила…

На этом слове Лавров умолк. Я схватил его за руку. Внезапная догадка осенила меня.

— Андрей Вениаминович, — воскликнул я взволнованно, — Андрей Вениаминович, быть может, у меня находится доказательство того, что княгиня не лгала вам, говоря о письме своем.

— Объяснитесь, пожалуйста, — недоверчиво возразил Лавров.

— Извольте…

И я рассказал ему во всех подробностях о нежданной встрече своей на постоялом дворе с незнакомкою, передавшей мне таинственное послание. Место встречи и день совпадали в точности с тем, кои были назначены для свидания княгиней Лаврову.

Окончив краткую свою повесть, я полез в боковой карман за бумажником, где так и оставалось лежать спрятанное туда письмо. Бумажник этот оказался при мне. Торопливо порылся я там и без затруднения нашел искомое среди старых счетов, подорожной и пачки ассигнаций.

Неслушающимися пальцами развернул Лавров пожелтевший, помятый листок и стал читать его. Стоя за спиною его, я невольно пробегал глазами по строкам вслед за ним. И тотчас же покраснел до ушей. Мне почудилось, что произошла ошибка, и я дал Лаврову письмо, полученное мною сегодня — содержание его было слишком хорошо мне известно. Встревоженный, я стал искать в карманах, но тотчас же убедился, что мое письмо осталось при мне. Тогда я разгладил его и приблизил к глазам.

«Любимый, не укоряй меня, я сама, как безумная, — прочел я. — Счастье всей моей жизни рухнуло. У меня нет больше сил бороться…» и так далее, слово в слово то же, что было написано в письме к Лаврову.

До глубины души оскорбленный, я готов уже был кинуть мятый листок Лаврову, но тотчас же удержался и, таясь, спрятал его обратно в карман. Я не хотел до конца показать свое унижение. Нелегко признаваться в том, что любовь к тебе была всего лишь жалкой копией.

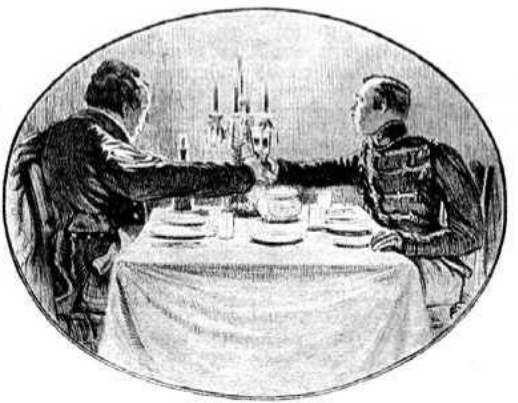
Андрей Вениаминович посмотрел на меня задумчиво. Он только что окончил чтение.

— Ну как после того не верить в случай? — сказал он. — Как может он играть нашими чувствами и даже самой жизнью! Но, — добавил он, улыбаясь снисходительно, — не разумнее ли всего припомнить мудрое изречение славного доктора Панглоса, что «все идет к лучшему» и на том утешиться?

Я поспешил согласиться с этим от чистого сердца и, протянув хозяину бокал вина, сказал с чувством:

— Конечно, любезный Андрей Вениаминович, вы правы: все идет к лучшему, когда коварство женщины закрепляет дружеский союз мужчин.

Пусть женщина дважды, трижды, несчетное число раз повторяет испытанное средство свое — кокетство, старательно следуя наставлениям французских романов — все же истинный романтизм чужд ей, как чужд аромат бумажным цветам, распускающимся тысячекратно в руках искусного мастера. Утешим же себя мыслию, Андрей Вениаминович, что во много раз слаще обманываться, чем обманывать других: мы вкушали всю полноту истинного чувства, в то время как другие заботились не ошибиться в роли. Выпьем за истинный романтизм и неизменных его спутников — доверчивость, правдивость и дружбу.



НЕГР ИЗ ЛЕТНЕГО САДА{3}

М. А. Кузмину

I

Я знаю одну удивительно странную историю, страдательным действующим лицом которой явился некий барон фон-дер-Гац и — совершенно неведомо для себя — негр из летнего сада в Митаве.

Я познакомился с бароном фон-дер-Гац у него в имении лет пять тому назад. Это было большое майоратное поместье, в несколько десятков тысяч десятин земли, почти целый уезд одной из наших остзейских губерний.

Старый замок, стиля древнегерманских крепостей, с высокими башенками, острыми шпилями, бойницами для пушек, — весь серовато-красный, — окаймлялся густым парком, только незначительная часть которого, около дома, была расчищена; дальше тянулся почти девственный лес с едва намеченными заглохшими аллеями.

{3} Комментарии: 2.3
Слезкин Ю. То, чего мы не узнаем. Пг., 1914.

Барон был в достаточной степени разорен и не мог поддерживать в должной мере великолепия родового поместья, но все-таки это не мешало ему, благодаря значительным доходам, жить безбедно и даже широко. Почти всегда в замке толпились какие-нибудь гости: соседи-помещики, друзья детства, однокашники, приезжавшие из разных концов России, наконец — петербургские знакомые.

Хозяин принимал радушно, хозяйка была очаровательна; что же удивительного в том, что никто не манкировал при случае завернуть в «Гацдорф» — так звали поместье — и оставались в нем почитай что неделями, совершенно не помышляя об отъезде.

Все знали барона как отличного хозяина, неутомимого работника, прекрасного семьянина. Женившись на дочери одного промотавшегося русского барина и не взяв за ней ничего, кроме красоты и молодости, он сейчас же бросил гвардейский полк, в котором служил, и, рассудив, что только при усиленном труде можно поддержать престиж рода своего и семьи, удалился в поместье и занялся хозяйством.

С шести часов утра, а то и раньше, в страдную пору, можно было видеть барона фон-дер-Гац

уже бодрствующего, уже верхом на английской кобыле объезжающего тихою рысью свои владения, следящего за правильной порубкой леса, за жнивой, за выгоном скота.

Главного управляющего-агронома, до того бывшего в «Гацдорфе», барон выслал, как нечистого на руку, и управлялся со всем единолично, при помощи шести приказчиков, взятых из крестьян посмышленее.

Только благодаря своему неусыпному бдению над родовым имуществом, барон пользовался относительным благосостоянием, что и заявлял многим своим приятелям не без гордости. И все, разумеется, согласились с ним.

Злые языки говорили, что, оберегая одну собственность, барон тем самым рисковал утратить другую — свою жену, так как будто бы ей очень скучно в старом барском гнезде, а скуки ради мало ли какие желания приходят в голову. Но все это были не более как сплетни, непременные спутники даже небольшого человеческого общества.

Баронесса была любезна, но не до фамильярности, учтива, но без утрировки, и никто не мог похвалиться ее особливым предпочтением. Правда, она любила развлечения и удовольствия, но

это было в порядке вещей, так как ей недавно минуло всего лишь двадцать лет. Если изящное кокетство, овеянное легкой сентиментальностью и наивностью, почитать за порок, то только этим одним пороком обладала прелестная баронесса фон-дер-Гац.

II

Рождение барона праздновалось всегда с большою помпою. Число обычных гостей увеличивалось вдвое, иногда втрое, и много дней подряд шум праздного люда и гром музыки не смолкали над старым Гацдорфским парком.

Пикники, охоты, кавалькады сменялись танцами, фейерверками, обедами; казалось, возвращались былые дни, дни галантного рыцарства, когда деды и прадеды барона задавали пиры в честь своего ордена или военной удачи.

Хотя сам владелец замка и не очень долюбливал шумное безделье этих дней, но таков был обычай, а главное — это доставляло неизъяснимую радость прелестной баронессе, которой барон не мог отказать в маленькой прихоти, памятуя, что ради него жена его забыла блестящее общество, свет, надолго, а быть может, навсегда похоронив себя в уединении деревенской глуши.

Рождение барона приходилось как раз в день Петра и Павла, когда лето в самом пышном уборе своем, когда начинается обольстительная охота на уток, водящихся в изобилии по озерам Гацдорфа.

Соседи, офицеры близ расквартированных кавалерийских полков, старые испытанные охотники со всегдашними своими анекдотами о необычайных выстрелах и сверхъестественных удачах, с собаками всех пород и качеств, с ружьями, ягдташами, фантастическими охотничьими костюмами, стекались со всех концов в старый замок в дрожках, верхом и в колясках и располагались более или менее удобно в многочисленных комнатах замка и его флигелей.

На псарнях выли и грызлись собаки, в конюшнях ржали кони и бранились, похваляясь друг перед другом, кучера; на кухне повара — один постоянный, а другие взятые на время из ресторана соседнего уездного города — непрестанно стучали ножами и резали всякую живность.

В тот год, к которому относится мой рассказ, барон за несколько дней до своего рождения— ему в ту пору должно было минуть сорок лет — ездил в Митаву и привез оттуда вместе с запасами всякой снеди, как неожиданный презанятный сюрприз,

целую труппу актеров открытой сцены Митавского летнего сада, среди которой выдающимся номером был настоящий африканский негр. Он танцевал в совершенстве кэк-уок, достигая в нем удивительной выразительности.

Гости были поражены, баронесса от радости хлопала в ладоши. Ей очень было занятно узнать, как ест настоящий африканский негр и правда ли, что там у него в Африке женщины и мужчины ходят без туалета? Такая наивность прелестной хозяйки очень развеселила все общество, а галантный негр оказался не только искусным плясуном, но и достаточно сведущим в языках французском, немецком и английском, на коих и отвечал учтиво на предлагаемые вопросы.

Баронесса осталась от этого в восхищении, что доставило барону несколько приятных минут сознания остроумности своего сюрприза.

Решено было построить в одном из углов парка балаган в виде открытой сцены, где актеры должны были впервые показать свое искусство в день Петра и Павла на заходе солнца. Пока же — занялись приготовлением к охоте.

III

С зарею праздничного дня барон фон-дер-Гац со всеми гостями своими был уже на озере. Там и здесь раздавались веселые выстрелы охотников, там и здесь проносились косяки диких уток, там и здесь виднелись в струнку вытянутые хвосты легавых.

Белый туман быстро таял под лучами солнца, и розовое небо казалось лицом начисто вымытой русой красавицы.

Сосед барона — граф Боржевский — господин превысокого роста, с длинными белыми усами, длинным же носом и маленькими серыми глазками, шагал медленно и важно, раздвигая шуршащий камыш и непрестанно цепляясь многочисленными медными цепочками охотничьей амуниции своей за ветки. Ему, по всей вероятности, было не очень занятно такое времяпрепровождение, так как лицо его то и дело морщилось в недовольную гримасу, а затем и вовсе нахмурилось.

Вскоре его уже не видно было среди охотников.

Веселая компания гусар держалась больше сухих мест, громко смеялась, перекидывалась

анекдотами, что не очень способствовало благоприятности охоты, но было вполне достаточно для возбуждения аппетита.

Удовлетворять его веселая молодежь и приступила, долго не мешкая, и расположилась под гостеприимными ветвями сосен.

Только сам барон фон-дер-Гац, толстый и красный ротмистр Шуков, уездный предводитель дворянства ФрондиГарди да старый щупленький прокурор Быковский со всею страстью предались охоте, ничего не видя, ничего не слыша, кроме собак своих, взлетающих дупелей и уток и метких своих выстрелов.

В замке тем временем тоже ничуть не скучали.

Прислуга была занята приготовлением завтрака и уборкой комнат, дамы же приезжие только начинали одеваться, еще не забыв ласки последнего сна.

Прелестная баронесса сидела у окна в легком золотистом пеньюаре и расчесывала свои густые тяжелые волосы.

Горячий румянец заливал ее щеки, губы были полуоткрыты и чему-то улыбались. Она прислушивалась к выстрелам, быстро вкалывая руками шпильки в пышную прическу, когда неожиданно в открытом окне появилась темная высокая тень

человека.

Баронесса вскрикнула, быстро захватив на груди распахнутый ворот пеньюара своего, и отодвинулась в глубь комнаты.

— Вы напрасно пугаетесь, баронесса, — весело промолвил граф Боржевский, так как это был он, и сел на подоконник, гремя цепочками и ружьем, — я вовсе не хотел испугать вас.

Лицо его улыбалось, и желтые усы торчали кверху.

— Но ваше появление… — начала было возмущенная баронесса.

— Оно как нельзя более идет к моему костюму, — перебил ее, смеясь, граф, — костюм бандита дает мне на это некоторое право…

— Влезать без спросу в чужие окна? — уже улыбнулась прелестная хозяйка. Она не умела сердиться и не помнила долго обиды.

— Да, да, и любоваться хорошенькой женщиной…

— Но, граф…

Длинный нос графа покраснел, маленькие же глазки блестели, как и его многочисленные медные цепочки. Он быстро перекинул длинные ноги свои в высоких ботфортах через подоконник на пол и сделал вперед два решительных шага.

— Но, граф… — снова воскликнула баронесса и через мгновение уже чуть слышно пролепетала:

— Какое безумие…

IV

Пышная ракета, высоко взвившаяся в черное небо и рассыпавшаяся миллиардами звезд зеленых и красных, возвестила всем находящимся в замке, что представление на открытой сцене уже началось.

По освещенным разноцветными фонариками аллеям длинною цепью шли гости и хозяева, направляясь в тот далекий угол парка, где высился балаган.

Впереди шел барон фон-дер-Гац — счастливый и довольный удачной охотой, под руку с полной и статной женой прокурора Быковской; за ними семенил сам прокурор с женой ротмистра, за всеми же остальными двигалась веселая группа блестящих гусар с прелестной баронессой посреди.

Граф Боржевский кусал — недовольный — свой ус, тщетно пытаясь овладеть вниманием хозяйки и дивясь такой быстрой перемене в ее к нему отношениях.

Толстые немки из Москвы тонкими голосами пели малозанятные песенки, дополняя их

довольно недвусмысленными жестами, потом человек-змея в чешуйчатом трико показывал, что и люди умеют, как любая собака, чесать себя пятками за ухом. Но самое изумительное, самое волнующее было впереди. Негр танцевал последним.

Когда он вышел на сцену, все приветствовали его нескончаемыми плесками рук. Прелестная баронесса даже вскрикнула от восхищения.

И действительно, было чему удивляться, глядя, с каким неподражаемым искусством, с какой грацией, удалью и огнем танцевал негр, скаля свои белые зубы и сверкая белками глаз.

Музыканты выбивались из сил, стараясь поспеть за ним. Гусары лихо закручивали усики и звякали шпорами; дамы дышали тяжело и взволнованно; столпившаяся за господами дворня громко гоготала, притоптывая ногами.

Уже ничто не казалось веселым после танца негра — мистера Копкинса, как он сам себя величал.

По окончании представления баронесса пошла лично пожать ему руку и поблагодарить за доставленное удовольствие.

Она вернулась только к ужину под руку с мистером Копкинсом.

Барон было хотел пожурить жену за это, но, увидев радостное и невинное лицо ее, смягчился и ласково кивнул ей.

Он радовался, что в день его рождения всем было весело в его старом замке.

Негра же упросили еще раз показать свое искусство в танцевальном зале.

Два корнета и баронесса присоединились к нему.

Триумф был полный.

V

Когда последняя карета скрылась за воротами старого Гацдорфского замка и снова наступила мирная, ничем не нарушаемая тишина в заросших аллеях парка, барон фон-дер-Гац надел свой обычный парусиновый костюм, сел на свою английскую рыжую кобылу и поехал по обширным полям своих владений. Давно уже нужен был зоркий хозяйский глаз его.

Потянулись всегда ровные, тихие дни и для баронессы. Опять лежала она в жаркую пору в гамаке под липами и читала французские романы, а под вечер гуляла меж клумб и поливала цветы из своей маленькой лейки, в то время как садовник с несколькими поденщиками, разметав

длинную пожарную кишку, обливали другие растения.

Над парком носился тогда пробужденный живой влагой запах настурции, бальзамина и душистого горошка.

Опять перед сном приходил к жене барон и, целуя ручки, спрашивал, как она провела день, а потом рассказывал, что делается по хозяйству. Баронесса украдкой зевала в желтую книжку, целовала мужа в лоб и шла спать в свою опочивальню, только изредка сопровождаемая бароном.

Но вскоре в однообразное течение времени вплелось нечто новое.

Прелестная хозяйка почувствовала сначала некоторую неловкость, потом тошноту, стала раздражительна и придирчива к пище, заметно осунулась, потеряв прежнюю живость и розы на щеках.

Наконец, в один из вечеров, на обычный вопрос барона, как она себя чувствует, баронесса ответила:

— Мне кажется, что я скоро буду матерью…

Лицо барона сначала вытянулось от изумления, потом расплылось в счастливую улыбку и, нежно обняв жену за талию, он спросил как

можно ласковее:

— Но когда же, когда это случилось?

Баронесса, помедлив некоторое время, ответила:

— Я думаю, что это случилось в день твоего рождения…

Тогда барон еще крепче прижал к себе жену свою:

— Ты рада? — допытывался он.

— О, конечно, мой друг, — чуть поморщившись, отвечала она, чувствуя приближение внезапной тошноты.

Положительно, день рождения барона в этом году был самым удачным.

VI

Ровно через восемь месяцев после только что рассказанного барон фон-дер-Гац ходил взволнованный по полутемному залу своего замка и прислушивался к отдаленному шуму голосов, доносившемуся до его ушей сквозь запертые двери.

Граф Боржевский и предводитель дворянства ФрондиГарди тихо переговаривались, сидя в углу на мягком диване и раскуривая сигары.

Граф Боржевский казался несколько взволнованным — это заметно было по бледности его

лица и невольному вздрагиванию руки, держащей сигару; предводитель, напротив, хранил полное спокойствие.

— Я знаю, — раскачивая закинутой ногой, говорил граф, — прекурьезный случай. В Италии не так давно одна женщина, будучи беременна, часто ходила в храм, где изображен был ад с хвостатым чертом на первом плане. Женщина всегда смотрела на это изображение, — и что же вы думаете? У нее родился ребенок, точь-в-точь похожий на написанного черта. Ç'est épatant![1]

Предводитель дворянства флегматично жевал сигару и молчал. Хитрые глазенки его бегали, посмеиваясь, по лицу графа и точно говорили: «Знаем мы, куда ты гнешь, милый мой, только на мякине старого воробья не проведешь».

Барон фон-дер-Гац продолжал мерить туда и обратно обширную залу, почти не замечая в волнении своем присутствующих.

В старом Гацдорфском замке сохранился давнишний обычай выносить новорожденного к отцу и гостям сейчас же по его омовении, не подпуская мужа к роженице.

Барон считал этот обычай священным и под-

---

[1] Примечания: 1.1
Это поразительно! (фр.).

чинился ему беспрекословно, хотя всей душой и рвался к страдающей жене.

Он уже было хотел кинуться на женину половину, когда дверь распахнулась и лакей в парадной ливрее и с канделябрами в руке громко возвестил, что роды кончились благополучно и что у барона родился наследник.

Вслед за тем показалась мамка в голубом сарафане, с белой ношей на руках. Лицо мамки было странно неподвижно, а глаза опустились вниз. Она медленно прошла по залу шагов пять и остановилась.

Барон робко, с улыбкой почти детской подошел к ней, за ним приблизились Фрон-ди-Гарди и граф.

Счастливый отец осторожно приподнял покрывало, закрывавшее лицо новорожденного, и вдруг в ужасе отпрянул назад. Предводитель дворянства пододвинулся ближе, граф окаменел, широко раскрыв глаза.

Перед ним лежал маленький черный сморщенный комок.

Он неистово кричал, почувствовав на себе струю холодного воздуха. Мамка стояла неподвижно, с глазами, опущенными вниз.

VII

Барон исчез.

В ту же ночь он, не повидав больную жену, прискакал на рыжей кобыле своей к станции, сел в поезд и приехал в Митаву.

Стояла ранняя весна, снег только начинал таять, летний театр был заколочен, печально высясь среди оголенных деревьев сада.

У сторожа барон узнал, что бывшая здесь летом труппа уехала давно, почитай что месяцев пять тому назад, куда же — неведомо.

В местном участке барону посоветовали обратиться в полицейское управление; наконец, он вспомнил о знакомстве своем с полицеймейстером и через него узнал, что труппа из летнего театра перебралась в варшавский буфф.

Барон поехал в Варшаву, оттуда в Одессу, из Одессы в

Брест.

Это была какая-то бешеная скачка. Обуреваемый жаждой мести, барон не жалел ни времени, ни денег, кидаясь из города в город в тщетных поисках виновника своего позора — негра из летнего сада.

Вскоре я совсем потерял его из виду и только

через полтора года после только что описанных событий, пять дней тому назад, узнал дальнейшую его судьбу.

Я гулял по одной из улиц Петербурга, когда встретил своего приятеля-адвоката. Он шел, деловито насупившись, с портфелем в руках; под распахнутым пальто виднелся фрак со значком поверенного.

— Куда ты? — спросил я его.

— В суд, в суд, голубчик, — отвечал он. — На руках у меня интересное дело… дело о бароне фон-дер-Гац.

Я, пораженный, схватил приятеля за рукав.

— Ты его знаешь? — спросил меня адвокат.

— Как же, — отвечал я, — с ним случилась прекурьезная история, но вот уже год, как он исчез из имения своего, и я ничего о нем не слыхал более того, что он побывал в Митаве, потом в Варшаве и других городах России в погоне за негром.

Тогда мой приятель захохотал неудержимо и сквозь смех воскликнул:

— Как, ты не знаешь, что было дальше? Слушай же…

И он рассказал мне следующую, вовсе, на мой взгляд, не веселую, но трагическую повесть.

Нигде не находя врага своего, барон фон-дер-Гац

пересек границу и появился в Берлине… Там, в одном из увеселительных ресторанов, увидал он танцующего негра, узнал его фамилию, которая оказалась фамилией оскорбителя, и, подсторожив его у выхода, подошел к нему.

— Вы мистер Копкинс? — строго спросил барон.

— Да, я мистер Копкинс, — ответил изумленный негр.

Тогда барон вынул свою визитную карточку и, думая, что этим все сказано, пристрелил несчастного. Но так не кончилась драма барона фон-дер-Гац. Оказалось, что убитый им негр вовсе не был виновником всего случившегося и никогда не бывал в России.

Барону удалось спастись от преследований полиции. Так как убит был не белый, а негр, полиция не особенно беспокоилась, антрепренеру же барон переслал значительное вознаграждение.

Но убийство все-таки было совершено, и убийство неоправданное.

Позор еще не был смыт, но первая кровь пролилась. Барон замкнулся в себе, осунулся, избегал знакомых, почти не говорил. Уже ни о чем, кроме мести негру из летнего сада, он не мог думать.

Он перекочевал из Германии во Францию, из

Франции в Америку.

Желание мстить перешло в безумие. Виновник не находился, и месть барона пала на всех негров. Он убил трех, пять — ранил.

Мучимый тщетными поисками, оторванный от привычной обстановки, хозяйства, отчаявшийся в любви, он бродил из города в город, всеми осмеянный у себя на родине и избегаемый на чужбине, жертва своего уязвленного самолюбия и детски чистой веры в справедливость.

Попав в какой-нибудь летний сад или буфф, где танцуют или поют негры, он усаживался в первый ряд и терпеливо ждал окончания спектакля. Когда занавес падал, он отправлялся к актерскому подъезду. Выходил негр — он подходил к нему и, смотря в лицо, говорил сухим голосом:

— Какая черная обезьяна!

Понятно, негр возмущался, и все шло по раз заведенному порядку.

Недавно в Филадельфии один такой негр, оказавшийся атлетом из цирка, на предложение драться, не говоря худого слова, избил барона до полусмерти. Барон застрелил его на другой день и, спасаясь от преследований, принужден был вернуться в Россию. Здесь его арестовали, — закончил приятель мой и снова засмеялся.

— Но что удивительнее всего, — продолжал он, — это то, что баронесса сумела доказать сумасшествие мужа до его ареста и вышла замуж за графа Боржевского; он же назначен опекуном барона, а маленького креола отдали куда-то на воспитание. Как видно, в самом деле не миновать сумасшедшего дома злополучному барону фон-дер-Гац!..

Окончив, мой приятель долго еще смеялся. Я же постарался поскорее избавиться от него, так как мне вовсе не было весело.

Апрель, 1909



НОВЕЛЛА{4}

Это произошло в один из художественных jour-fix'ов[2], устраиваемых очаровательной женщиной, известной публике по вернисажам, неизменно появляющейся там с веткой желтой мимозы у корсажа.

Модные художники и писатели, вхожие к ней в дом, называли ее «прелестной Альмеей», — остальные вспоминали ее по цветку — «желтой мимозой».

В тот день она позировала перед пятью художниками. Кроме них, присутствовали на сеансе — молодой беллетрист Строев и музыкант-аккомпаниатор, кривоногий Ронин.

Прелестная Альмея смеялась. Она была весела — эта белая женщина.

Элегантный художник Забяцкий несколько раз повторил:

— Я назову свою картину — «Смех». Вы мне

{4} Комментарии: 2.4

Слезкин Ю. Картонный король: Первая книга рассказов Юрия Слезкина, украшенная заставками Евг. Ващенко. СПб., 1910 (далее — КК).

[2] Примечания: 1.2

Журфикс, регулярный прием гостей (фр.).

дали идею, восхитительная модель. Вы образ изысканного тонкого смеха.

Художник Грас каждый раз возражал на это:

— Будьте осторожны, пан Забяцкий. Я боюсь, что ваша картина заставит плакать.

Остальные смеялись тоже. Было весело с веселой Альмеей.

Строев сидел в глубокой нише венецианского окна, распахнутого настежь, и медленно тянул мараскин. Он был изящен в своем весеннем вестоне. В петлице ярко горел нарцисс.

— Почему маэстро не играет? — спросил кто-то.

Писатель улыбнулся. Он был холоден с пианистом.

— Для этого у него слишком тонкий слух…

— То есть? — подняла брови Альмея. Она поняла настроение писателя, — оно льстило ей, — и ждала большего.

— Он боится испортить себе вечер, — серьезно ответил тот.

Ронин побледнел и закусил губу. Художники переглянулись.

Ворвавшийся ветер дышал розами. Это были любимые цветы хозяйки. Все замерли, наслаждаясь истомным запахом.

Пианист оправился и заговорил первым. Он презрительно поджал губы, острая бородка торчала вперед. Глаза были сощурены и косились на Альмею. Она должна была знать, что все это из-за нее:

— Monsieur ошибся. Я давно предвидел, что испорчу вечер, но такова моя участь… Я ждал, что monsieur прочтет свою новеллу…

Теперь Строев должен был смириться. Во всяком случае, он понял ясный намек, но молчал.

Пианист улыбнулся. Еще раз Альмея могла убедиться в ничтожности своего фаворита.

Ронин не хотел уступать. Он прямо шел к цели.

Она сумела замять неловкое молчание. Захлопала в ладоши:

— Да, да, Строев, вы должны нам прочесть свою новеллу.

— Но она не со мной, — возразил тот.

— Тогда расскажите ее…

— Конечно, — расскажите, — подхватили художники. Они хотели быть любезными.

— О, это слишком трудно. Для музыкальных звуков есть клавиши, для слов их нет…

Он склонился и смотрел вниз на клумбы. Салон был во втором этаже. Дали вечерели. Листва

стала матовой.

— Но сюжет, — настаивала женщина, — передайте хотя бы сюжет…

Строев молчал. Казалось, грезил.

— Сюжет прост, — начал он, — несложен… Нет ничего нового в мире, художественные образы исчерпаны — остались одни нюансы. Наш достоуважаемый маэстро обречен на вечную хандру… Но вот сюжет, если хотите… Он любил ее. Все равно, — кто он и кто она. Она любила его. На этих данных развивается действие. Буду краток. После недолгого любовного удовлетворения, он в своей огромной, всепоглощающей любви стал жаждать от нее любви еще большей, еще восторженней. Чем сильнее любила она, тем требовательней становился он. Все было мало. Он страдал от этого. Несмотря ни на что, он казался себе влюбленным безнадежно. А он не знал границ в своей жажде любви. Он напрягал все свои силы, чтобы разжечь ее любовь, но он жил и в нем жили его желания, всегда возраставшие. Тогда ему пришла в голову дикая, бредовая мысль. Только осуществив ее, он верил, что навсегда и безраздельно завладеет сердцем любимой…

— Эта мысль? — не вытерпела минутной паузы Альмея.

У нее блестели глаза и побледнели от напряжения пальцы.

— Что же он решил сделать?

Строев молчал. Он чуть улыбнулся, но понял, что момент удачен и молчал. Это делало особенно занимательным его рассказ.

— Говорите же!..

Она была взволнована. Вся ее белая грациозная фигура, чуть склоненная, казала ожидание.

Кругом молчали, заинтригованные.

Беллетрист пил щекочущий хмель удовлетворения.

Он нарочно опять перегнулся за окно и вглядывался в тени парка.

Розы млели под влагой еще чуть зримого тумана.

Бледный, с белыми губами, Ронин не сводил глаз с писателя и неслышно подвигался к нему за спинами художников.

Когда он был совсем близко от Строева, то сказал мягко и вкрадчиво:

— Я прошу извинения у monsieur. Новелла прелестна — я горю желанием знать ее конец.

И быстро протянул вперед руку, точно давая ее для пожатия.

Строев полуобернулся, как-то странно покач-

нулся и мгновенно исчез за нишей окна.

Когда после невольного замешательства одни кинулись вниз — в сад, другие к окну, писатель уже был мертв. Он разбился об асфальт панели.

Осталась сидеть одна только прелестная Альмея. Она сидела, так же склонившись вперед, как и раньше.

Она не смеялась.

— Он умер, — грустно произнес наконец пан Забяцкий.

Но она не ответила ему. Она повернула свое лицо к окну и смотрела в небо.

— Так вот он — *конец его новеллы*, — совсем тихо шептали ее губы, а глаза заволоклись туманом.

Ронин стоял у окна. Его радостная усмешка спряталась и губы сжались в злобной досаде.

Он видел, что поняли все не так, как было и как он хотел. Он видел в глазах женщины любовь, но не к нему, а к умершему и проклинал себя за то, что он — он, Ронин, был автором конца этой нелепой новеллы.

1910 г.



ДАМА В СИНЕМ{5}

А. Зарницыну

Не знаю, почему именно на нее обратил я свое внимание, когда вошел в зрительную залу театра и, раз взглянув, уже не мог отвести взгляда.

Она вовсе не была красива — эта дама в синем глухом платье — слишком тонка, со впалой грудью, мелкими чертами лица и странно-выпуклыми глазами. Глаза ее все чего-то искали, о чем-то спрашивали и казались слишком откровенными.

Неловко, почти стыдно было смотреть ей прямо в глаза и, может быть, этот-то стыд, неприятно дразнящий, влек и манил к себе.

По левую руку от нее поместился я, — по правую — сидел мужчина безукоризненной наружности, в безукоризненном костюме.

Лицо его было правильно, бледно, с резко очерченными ярко-алыми губами, лицо самовлюбленного Нарцисса.

В антракте я узнал из краткого разговора мо-

{5} Комментарии: 2.5
КК.

ей соседки с ним, что он — ее муж, может быть — любовник.

Он говорил отрывисто, немного устало, не глядя на нее; она взволнованно, перебирая худыми пальцами тонкую золотую цепь, — единственное украшение на строгом синем платье.

— Это оскорбляет меня. Зачем? — шептала женщина.

— Мне только скучно, — отвечал ей усталый голос мужчины, — пойми ты — только скучно...

Я вышел в буфет, потоптался там, потом сел в фойе, следя за пестрым кольцом гуляющей публики.

И вот я увидел ее — мою соседку, идущую с мужем в общем потоке.

Выпуклые глаза ее туманились, тоскливо озирая толпу, потом остановились на моем лице и замерли.

Мне стало не по себе, — я не знал, поклониться ли ей или отвести лицо, — так откровенен и радостен стал ее взгляд.

Она резко высвободила свою руку у мужа и быстро пошла ко мне.

— Здравствуйте, — услышал я ее голос и растерянно поклонился.

— Не удивляйтесь, — быстро, нервически

продолжала женщина и села рядом со мной на диван. — Главное, не делайте изумленного лица… Все это совершенно не так странно, — просто вы забыли меня, но я вас вспомнила и захотела поговорить с вами… Да, да — не возражайте… Ваши портреты прелестны. Вы нравитесь женщинам, — и я одна из ваших поклонниц…

Признаться, я ничего не понимал. Женщина не была сумасшедшей — это ясно, но неожиданное нападение ее было слишком экзальтированно. Я ее вовсе не помнил и нигде не видал раньше.

Глаза ее теперь казались еще более откровенными, зрачки потемнели и округлились.

Мужа ее в толпе я больше не замечал.

— Я вижу, вы все думаете о моем поведении, — вновь начала она, ничуть не смущаясь моим неловким молчанием.

— Напрасно! Представьте себе, что мы уже давно знакомы и попробуйте быть таким же интересным собеседником, как и портретистом.

Она оглянулась и внезапно лицо ее замерло и стало страдальческим.

Тогда я начал говорить. Пустяками думал оживить себя, — во всяком случае, все это было забавно.

Муж не возвращался, и мы вместе прошли в

партер.

Занавес был поднят, в зале стоял полумрак и, когда я пропускал спутницу свою вперед на ее место, она намеренно, — я это понял, — прижалась к моему плечу. Только глаза ее смотрели в сторону мужа, неподвижно сидящего в кресле. Лицо у него по-прежнему было невозмутимо, презрительно-скучающее.

— Где ты был? — отрывисто спросила его женщина.

— Курил в буфете, — сквозь зубы ответил тот.

Я уже не смотрел на сцену. Незаметно приглядываясь к этим двум людям, я старался понять их отношения и странное поведение соседки.

Она точно осунулась вся, постарела; но глаза оставались широко открытыми, спрашивающими. Потом неожиданно оживилась, выпрямилась и, нагнувшись к самому моему лицу, зашептала быстро что-то несвязное.

— Простите меня, но ваш муж… — начал было я.

Она перебила:

— Вздор!.. и потом, почему вы думаете, что он мой муж?

— Судя по вашим отношениям…

— Да, да — конечно… но он ничего не имеет

против… С ним скучно, — он слишком занят собой, и потом, Бог мой, если я так хочу…

Она повернулась к мужу и долго, как-то моляще, смотрела ему в лицо. Он был удивительно хорош в эту минуту.

Странно. Она положительно манила меня. В ней было что-то животное — этот раздвоенный подбородок, эти чувственные глаза, белые тонкие руки. Казалось почему-то, что белье на ней не совсем чистое и пахнет чуть-чуть птицей, но кто же сказал, что это всегда противно?

До конца спектакля я не расставался со своей случайной знакомой. Сидел бок о бок во время действия, чувствуя ее прикосновения; взволнованный, почти увлеченный, в антрактах бродил по фойе, сыпя каламбурами, анекдотами, — болтая всякое ничто в каком-то опьянении.

В вестибюле, перед выходом, хотел просить, умолять ее о новой встрече, но она внезапно исчезла. Должно быть, замешалась в толпе и вышла с мужем.

Я шел по улице, все еще под впечатлением ее взгляда — откровенно-манящего, и пожимал плечами.

Ночь повисла морозная, — падали белые редкие звезды снега.

На первом повороте я услышал за собой спешные шаги, потом знакомый голос кликнул:

— Подождите…

Она задыхалась от быстрого бега, волосы выбились из-под белого капора.

Я молчал, пораженный.

— Наконец-то… Я очень рада, — берите извозчика и едем.

Сбитый с толку, окончательно смущенный, я молча посадил женщину в сани и мы тронулись.

— Но в чем дело?

— Ах, не спрашивайте! Нет, почему вы всему удивляетесь: «удивленный» человек!.. — вдруг от усталого полушепота перешла она к взволнованному вскрикиванию.

— Что вас поражает? Что я бегу за вами? Что вы мне нравитесь, что это не вяжется с моей приличной наружностью? Глупый! Ну, а если муж мне надоел, опротивел, опостылел? Если он гадок, ничтожен, — если я его ненавижу… понимаете — ненавижу…

Она схватила меня за руки и трясла их так, точно хотела закрепить в себе уверенность в своих словах.

Потом уже тише, наклоняясь ко мне, стала ворожить.

— А ты прекрасный, дивный… Я люблю тебя, — да, люблю. И я твоя… Я еду к тебе, чтобы быть твоей, принадлежать тебе, отдаться тебе. Мой ненаглядный, любимый… Я убежала от него — и он страдает… ах, как он страдает! Но пусть, — он мне противен… Всю ночь он будет искать меня по темным улицам города и плакать, а я буду с тобой, я буду греть твое тело, буду счастлива… да, да? счастлива? — спрашивала она, заглядывая мне в лицо. Мне почудилось, что голос ее истерически сорвался на неестественно высокой ноте. Но она не плакала, а губы счастливо улыбались.

Я заражался ее нервозностью. Я даже чувствовал легкий озноб, когда подъехал к себе и почему-то все очень торопился.

Дома я ее поил чаем, который сам приготовил, целовал ее, безумел…

Она смотрела на меня обещающими выпуклыми глазами, потом улыбнулась мне таинственно и попросила проводить в спальню.

— Сейчас, сейчас, мой милый, — шептала она пересохшими губами и льнула ко мне своим тонким телом. — Подожди, мой милый, там… я скоро позову тебя… Ну, иди, иди!..

Она вытолкала меня насильно за дверь, все целуя и горя глазами и обещая многое.

Я вернулся в кабинет и ждал.

Уже ни о чем не думал, ничего не хотел понять, весь повитый горячим ее дыханием, поцелуями, взглядом.

Быстро ходил по комнате, барабанил пальцами в окна, двигал стульями.

Наконец, не сдержался. И хотя времени прошло немного, но в нетерпении хотел скорей ее увидеть.

Вошел в спальню, — никого. Позвал тихо — остался без отклика. Тогда кинулся в уборную.

Дверь заперта. Постучал — молчание.

— Послушай, ну, голубка, — ответь же… слышишь? Я люблю тебя — я не могу больше ждать…

Снова молчание.

Тогда я нажал на ручку. Дверь поддалась.

Было темно. Я протянул руки и сделал несколько шагов вперед.

Да, вот она.

— Милая… куда ты забралась?

Она стояла выше меня — я обнимал ее колени.

— Милая…

И вдруг я почувствовал, что женщина странно как-то качнулась, точно уплывала. Я сделал еще шаг — никакой табуретки или стула под ней не

было.

Она скользила в воздухе.

Тогда, как-то съежившись, присев к полу с холодными, мокрыми руками, я попятился к двери, где был выключатель.

Когда загорелся белый огонь электричества, — я увидел мою гостью.

Она тихо покачивалась на перекинутой через железную трубу ванны белой простыне.

1910 г.

ХИМЕРЫ{6}

à Georges Batault
Ce sont choses crépusculaires,
Des visions de fin de nuit.
Ô Vérité, tu les éclaires
Seulement d'une aube qui luit.

Si pâle dans l'ombre abhorrée
Qu'on doute encore par instants
Si c'est la lune qui les crée
Sous l'horreur des rameaux flottants.
Paul Verlaine

Pâle voyageur, connaistu l'amour?
— Si, pauvr Mignon, je connais l'amour!..
Vielle romance

Париж красивее ночью со своими призрач-

{6} Комментарии: 2.6

Сочинения Юрия Слезкина. Т. 1: Повести о странностях любви. Пг., 1916 (далее — Сочинения).

Эпиграфы: «Все это — сумрака созданья,/ Виденья ночи пред концом. / О Истина, твое сиянье / Лишь первым светит им лучом! // В них все так бледно, все так хило, /Что взором кажется скорей: / Их не луна ли сотворила / Под зыбким ужасом ветвей» (пролог «Недавно» из кн. П. Верлена «Далекое и близкое», пер. В. Брюсова). «О бледный путник, знаешь ли ты любовь? / — Да, бедная Миньона, я знаю любовь! *Старинный романс*» (чуть искаж. цит. из стих. поэта-песенника Ж.-Б. Клемана «Знаешь ли ты любовь?»).

ными серыми зданиями, с узкой извивающейся Сеной, с волнующей Notre Dame, с меланхолическими садами и лихорадочными бульварами. Ночью он живет совсем иною жизнью, не похожей на жизнь дня, когда он просто большой европейский город с автомобилями и модными магазинами. Ночью Париж видит свое прошлое и бредит им. Ночью ясно, какой он старый-старый, усталый и пресыщенный… Ночью видно, как этот жаждущий жизни старик творит свой искусный намаз. Наутро он побежит опять взвинченной походкой за своей мечтой, за женщиной… Ночью он шамкает, ковыляет и часто-часто вздыхает — и я люблю его таким.

В эту сырую, туманную ночь я опять бродил по его бесконечным бульварам. Я не мог уснуть. Мое сердце стучало неровными толчками, и я боялся своей кровати. Бессонница гнала меня все вперед и вперед. Я уже не знал, по каким улицам я иду.

Было очень поздно. Даже студенты, этот смех Парижа, забрались к себе под крышу со своими любовницами. Огни в барах потухли. Несколько пьяных еще кричали. Большие крысы вышли на обычную прогулку. Они появлялись из всех домов, из всех темных углов. Их осторожный шелест слышался у каждого дерева, где валялись

бумажки и апельсинные корки. Это была ночь Mardi-Gras, канун карнавала. Он обещал удовольствия, этот день. Удовольствия… Он должен был улыбаться всем, блестеть красками и сыпать конфетти… Удовольствия… Помните картины Ватто, где на изумрудной лужайке пляшут кавалеры и дамы, а из-за деревьев выглядывают амуры… Вы видели улыбающиеся лица пастушек с маргаритками у корсажа, вы видели в шелку и пудре галантных ловеласов?

Удовольствия…

Вы слыхали музыку Оффенбаха, мазурку Глинки, вальсы Шумана?

Удовольствия… Вас била когда-нибудь соленая шипящая волна, жгло солнце ваше обнаженное тело и грезили ли вы в ту пору под неумолчную песню моря?

Ну, так вы знаете, что такое удовольствие… Но карнавал…

Несколько пожилых женщин выехали со своими лотками. Они копошились у своих тачек и кашляли. Сырой туман окутывал их. Они ждали… Они не спали, как и я. У них, наверное, тоже билось сердце неровными толчками.

Над ними повисло темное, сумрачное небо. Крысы бегали у их ног. Когда кончится эта ночь?

Ноги у меня дрожали. Не знаю — от усталости или от возбуждения. А может быть, вместе с туманом я вдохнул какую-нибудь болезнь. Все может быть.

Мне хотелось говорить. Мне надо было видеть, что вокруг меня не тени, а люди, которые бодрствуют, как я. Ведь завтра карнавал, и будет весело. Только несколько часов ожидания. Я подошел к одному из ларей. Над ним склонилась чья-то тень и не двигалась.

— Мадам, вы спите? — позвал я. — Не надо спать, — можете простудиться.

Она шевельнулась. Я увидел ее глаза, открывшиеся на мгновение. Потом голова ее опять упала на тюк с конфетти…

Кто-то дотронулся до моего плеча. Я вздрогнул.

— О, не бойся, это я…

Передо мной стояла другая тень.

— Дай мне четыре су, чтобы я могла выпить стаканчик, когда откроются бары.

Я схватил ее за руку и подвел к фонарю.

— Ты тоже не спишь?

— Как видишь. Сегодня скверная ночь… Но что делать?

— Почему здесь эти женщины? — допытывался я.

— Ба! Да ведь завтра — Mardi-Gras! Они пришли сюда, чтобы занять место, чтобы найти свое счастье. А ты любишь конфетти? Пыль, которая ест глаза, конфетти, набивающиеся тебе в рот и волосы, типы, которые хватают тебя, жмут и говорят пошлости, маски, которые целуют… О, я предпочитала бы спать этот день…

Слабый свет фонаря освещал ее лицо. Оно казалось очень бледным. Накрашенные губы делали рот черным и широким. Тонкий круглый нос, темные блестящие глаза, худая красивая шея.

Я протянул ей франк и спросил:

— Но почему бы тебе и не лечь завтра?

Я радовался, что слышу свой голос и чувствую теплоту ее руки.

— Потому что завтра мой день.

Она улыбнулась. Ее рот стал еще больше.

— Вот уже три года, как этот день мне что-нибудь приносит. Но ты не выпьешь ли со мною стаканчик? Сейчас откроется бар, вот тот, что на углу. Ты не бойся, я ничего больше не хочу от тебя. Если бы ты и просил, я не пошла бы сегодня с тобою. Но ты мне нравишься. У тебя славное лицо, и ты недаром не спишь эту ночь. В темноте люди лучше узнают друг друга. Я вышла сюда потому, что все равно не уснула бы. Я не могу

спать. Мне нужно говорить с кем-нибудь.

Идем же!

Она тянула меня за руку. Я слабо противился. Мне было все равно. Ее слова быстро-быстро звенели в моих ушах, но я их плохо понимал. Потом догадался, что в баре будет тепло, и только тогда почувствовал, как я озяб. Все пальто мое было мокро от сырости и ноги коченели.

Я пошел за нею. На ходу спросил ее:

— Как тебя зовут?

Не знаю, зачем нужно было мне ее имя.

— Ивон…

Я повторил несколько раз:

— Ивон, Ивон… Ты, наверное, знаешь, что такое любовь?

Она неожиданно быстро обернулась ко мне, так что я вплотную подошел к ней. Она схватила меня за плечи и порывисто ответила вопросом:

— А ты знаешь?

И сейчас же повернулась и пошла дальше.

— Ивон, Ивон…

Почему-то было приятно повторять ее имя.

— У тебя хороший голос, — сказала она.

Перед баром стояло уже несколько человек. Элегантный молодой господин в цилиндре под руку с женщиной, два пьяницы в кепках и ста-

рик-рабочий в синей блузе.

Сквозь запотевшие стекла брызнул желтый огонь и лег колеблющимся пятном на мокрый тротуар. Скрипнули двери.

Мы вошли и сели в углу за круглый каменный столик. Заспанный гарсон подал нам виски.

— Ты должен выпить, чтобы согреться, — сказала Ивон, — у тебя очень бледное лицо. Таким ты не понравишься своей невесте…

— У меня нет невесты…

— Тем хуже… У тебя есть любовница, которая изменит тебе, если ты себя распустишь…

Я ответил упавшим голосом:

— Она уже изменила мне…

Ивон хлебнула из своего стакана, откинулась на спинку стула и закрыла глаза.

Потом произнесла чуть слышно:

— Значит, ты знаешь, что такое любовь… Счастливые любовники не знают любви… Но все равно я расскажу тебе это…

Она опять выпила. Положила локти на стол и опустила на худые кисти рук свой подбородок. Так она сидела, не шевелясь, и некоторое время смотрела на меня.

— Это случилось как раз два года тому назад, когда я познакомилась с Шарлем. Как раз в день

марди-гра. У меня тогда был костюм Пьеретты и черная маска. Ба, я убежала от своего отца, чтобы немного повеселиться. Это довольно скучная история сидеть целый день со стариком и читать ему газеты. Я предпочитала бегать по улицам. Все мои подруги это делали. Я ведь служила в одном модном магазине, я была модисткой. Ну, конечно, бросали друг в друга конфетти. Мне это казалось очень забавным. Я говорила глупости и много смеялась.

И вот встретилась с Марией и ее двумя компаньонами — двумя молодыми людьми. Мария всегда была окружена ими. Она одевалась лучше других и знала, как справляться с этими молодчиками. Деньги у нее не переводились. Она сказала: «Хочешь, я тебя познакомлю с этим черным? Он очень хорош, потом, есть кое-что в кармане, да кроме того, посмотри, как умильно он смотрит на тебя. Его зовут Шарлем!..»

Ну, мы и познакомились. В этом еще не было ничего предосудительного. Но он сразу очаровал меня своим голосом, своими манерами. Он держал себя очень корректно и ничего себе не позволял. Но я поняла, что я ему нравлюсь. Боже мой, любовь приходит очень скоро. Не успеешь оглянуться, как уже чувствуешь, что влюблена.

Мне ведь стукнуло тогда всего лишь семнадцать лет! Мы выпили немного вина в кафе, потом немного наливки… Это маленькое удовольствие все себе позволяют в марди-гра… Ничего не поделаешь… И потом, Шарль так упрашивал. Он еще не видал моего лица, так как я не снимала своей маски, но он говорил, что видал меня раньше и что отдал бы все, чтобы увидеть меня еще раз. Я смеялась, потому что мне было весело. Я была вся осыпана конфетти, а прохожие не переставали на меня сыпать и сыпать. «Вас скоро совсем не увидишь, — сказал Шарль. — Что, если мы поднимемся наверх и мадемуазель приведет себя немного в порядок? Я думаю, что конфетти ее стесняют!»

О, он был прав! Эти дрянные конфетти забрались ко мне за ворот кофточки и щекотали грудь и спину. Я немного колебалась. Я никогда не поднималась наверх в отдельные кабинеты. Но Мария сказала мне, что тут нет ничего дурного, и мы пошли.

О, как только я сняла свою шляпу, с меня так и посыпался разноцветный дождь. Пестрый круг образовался вокруг меня на полу. Мария и ее спутник куда-то исчезли. Мы остались вдвоем. Я стояла перед зеркалом и поправляла прическу.

Шарль стоял за мною. И вдруг он подходит ко мне близко-близко, срывает с меня маску и целует прямо в губы. Этого еще не хватало! Я отскочила от него, но он опять был рядом и расстегивал ворот моей кофточки: «У мадемуазель, наверное, и там много конфетти…»

Знаете, когда делаешь одну глупость, за нею следует другая — это всегда так.

Он меня взял. Он сделал со мною все, что хотел. Может быть, потому, что у меня кружилось в голове, а может быть, потому, что у меня не было сил бороться с человеком, который все же мне нравился. И, по правде сказать, хотя я и плакала после, но уж совсем не так жалела об этом, как бы следовало. Все же я была счастлива. Кто бы ни был ее первый любовник, женщина его любит, привязывается к нему.

Он был в самом деле очень мил, мой Шарль. С этого дня началась наша любовь.

Очень старая история, конечно! Но для девушки в мои годы все казалось необыкновенным. С каждым днем моя любовь крепла. Я привязывалась к Шарлю.

Сначала я обманывала отца, потом совсем его бросила и уже не ходила в мастерскую.

У Шарля водились деньги — нам обоим хва-

тало. Он часто ходил со мною в кафе и в бары. Знакомил меня со своими товарищами, которые ухаживали за мною, но мне, право, не хотелось даже смотреть на них. У Шарля было обширное знакомство и все по большей части молодые люди, среди них много художников. Я была счастлива, мне было весело. Более всех обращал на меня внимание Грегуар, еще совсем юный студент, лучший друг Шарля. Он часто говорил ему: «Я хочу у тебя отнять твою Ивон», на что Шарль, смеясь, отвечал: «Тебе только это и остается сделать. Она наверное пойдет за тобою…»

Я, конечно, понимала, что Шарль шутит, и смеялась вместе с ним.

Все шло хорошо до марди-гра прошлого года. Я не могла даже заметить, чтобы Шарль охладел ко мне или ухаживал за кем-нибудь другим. Но в этот день он с утра исчез.

Я подумала, что он пошел переодеваться тайком от меня, чтобы сделать мне сюрприз, и я тоже оделась Пьереттой и прикрыла лицо черной маской.

Но Шарль не приходил, а вместо него пришел Грегуар. Он казался очень озабоченным сегодня и особенно предупредительным со мною.

Видя, что я волнуюсь, он предложил мне пойти

на бульвар Сен-Мишель, где уже бросали конфетти.

Мы пошли. Надо сказать, что Грегуар очень крепко прижимал к себе мою руку, я это только потом вспомнила, но тогда я ни на что не обращала внимания. Я торопилась встретить поскорее Шарля.

«Сегодня марди-гра и надо быть веселой, мадемуазель, — говорил мне Грегуар. — Почему вы так озабочены? Шарль, наверное, нас тоже ищет, но в такой толпе трудно найти кого-нибудь». Я не отвечала.

Так мы шли очень долго. В меня бросали конфетти, я оставалась равнодушной.

Но вот мы подходим к кафе «Пантеон» и я вижу, что за столиком сидит Шарль, а напротив него какая-то девушка в желтом костюме с большим декольте и черным беретом на рыжих волосах. Он держит ее за руку и шепчет ей что-то, а она смеется.

Тогда я подошла к столику и назвала Шарля его именем.

Он оглянулся и мне показалось, что он даже смутился на время.

Потом сказал очень непринужденно и насмешливо:

«А, это ты, Ивон?»

Я не отвечала и смотрела на него в упор.

«Что же ты пришла сюда, моя милая? — продолжал он, все еще держа руку девушки в желтом, которая пучила на меня свои глаза. — Ты видишь, я занят… А с тобой твой любящий Грегуар…»

Я чувствовала, что у меня пересохло в горле и я через силу спросила:

«Что же мне теперь делать?»

Тогда он махнул в воздухе рукой.

«А, ба! — воскликнул он. — Почем я знаю? Иди гулять, раз сегодня марди-гра, моя милая!»

Это были его последние слова, которые я слышала. Вся кровь прилила к моей голове и я сейчас же повернулась и побежала. Грегуар следовал за мною и просил меня остановиться. Но скоро он потерял меня из виду.

Я бежала, еще хорошо не зная, что делать. Меня осыпали конфетти и я отмахивалась от них, как от тяжелых мыслей, которые во сне не дают покоя. Так я добежала до моста Сен-Мишель… Тут было меньше народа и я остановилась. Не скажу, чтобы мне стало легче. Я посмотрела на Notre Dame, которая возвышалась как раз напротив, перекрестилась и, не успев понять, что делаю, бросилась через перила в Сену…

Ивон на время замолкла, опять наливая себе виски. Я смотрел на нее блестящими глазами. Виски согрело меня, и я вновь переживал свое недавнее прошлое. Зубы стучали у меня, когда я прошептал:

— Ну же, ну!

Ивон тряхнула головой.

— Знаешь, когда раз это попробуешь — покончить с собою — то уж больше не захочешь. Поверь мне, мой милый…

Меня спасли полицейские, которые всегда там, где их не нужно. Меня свезли в больницу и вернули мне жизнь… К чему?..

Но что сделано, то сделано! Если меня не взяла смерть, значит, судьба хотела, чтобы я отомстила за себя… Не правда ли?

Ивон дернула меня за рукав и улыбнулась. Я закивал головою:

— Конечно, конечно!

— Ну, так вот. Первым, кого я увидала у своей кровати — был Грегуар. Он говорил мне много хороших слов. Он действительно любил меня.

Я поправлялась и голова моя крепла. Все чаще приходили ко мне мысли, что я буду делать, когда меня выпустят из больницы. У меня не было денег, не было отца, от которого я ушла и который

меня проклял, не было службы… Значит, нужно было стать уличной девкой… А это не так легко, я тебя уверяю!.. Невольно пришлось слушать, что говорит мне Грегуар, и согласиться идти к нему… Все-таки это лучше… Но, знаешь, я все же не могла забыть Шарля. По мере того, как возрастали мои силы, крепла моя ненависть к нему. Я решила отомстить…

Ивон повторила совершенно спокойно:

— Я решила отомстить…

У меня дрожали руки. Я вспомнил, как я хотел задушить свою любовницу, когда узнал об ее измене, и как у меня не хватило сил на это. Я сжимал кулаки:

— Что же, ты убила его?

Ивон засмеялась.

— Мой милый, ты все же еще не знаешь, что такое настоящая любовь, несмотря ни на что. Нет, ты это поймешь немного после! Но слушай.

Мне ничего не оставалось, как согласиться жить с Грегуаром. Он делал все, чтобы я была счастлива, и я даже постаралась забыть Шарля. Но когда стараешься забыть кого-нибудь — невольно думаешь о нем. Нет, я не могла забыть Шарля и еще меньше я могла полюбить Грегуара, несмотря на всю его заботливость. Ко-

гда, он меня спрашивал, люблю ли я его, я всегда отвечала, что очень благодарна ему. А любовь и благодарность не бывают друзьями между собою. Когда Грегуару нужно было ехать на родину, а это случилось этой весной, и он звал меня с собою, чтобы повенчаться там — я отказалась. Конечно, было очень неблагоразумно, то, что я делала, но подите же — такова любовь. Мне еще нужно было увидеть Шарля…

— И что же? — опять перебил я.

Ивон продолжала:

— О, я долго думала, как это сделать. Я хотела отомстить ему так, чтобы он меня *помнил* — ты понимаешь? И потом, мне хотелось… Вот тут-то все и есть… Я хотела, чтобы он еще раз поцеловал меня, желал меня… Но слушай. Завтра марди-гра — день, в который я впервые ему отдалась, и день, когда он меня бросил. С тех пор он ничего не знает обо мне. Он думает, что я утопилась. Я просила Грегуара передать ему, что я умерла. Для того, чтобы окончательно порвать с ннм, как я объяснила. Грегуар, конечно, сделал это с удовольствием. Он радовался, что все прошлое умрет вместе с моей мнимой смертью.

Итак, я для Шарля больше не существую, не только как любовница, но и как человек… Ха-ха…

почему же мне этим не воспользоваться? И я воспользуюсь, воспользуюсь, ты увидишь!

Я одену костюм — я уже купила себе другой костюм — и пойду на бульвар Сен-Мишель. Шарль, конечно, будет там со своей желтой любовницей. Под маской он меня не узнает. Я сделаю все возможное, чтобы он обратил на меня внимание. О, он не пропустит такую интересную ряженую! Тогда я скажу ему, что мне нужно поправить свою прическу, и он поведет меня в отдельный кабинет.

Я схватил Ивон за руку, все во мне волновалось:

— И ты убьешь его?

— О, нет, — отвечала она, тихо и мечтательно улыбаясь. — Зачем? Я только попрошу не снимать с меня маски и позволю делать то, что ему захочется, со мною… Мой голос огрубел за это время — он его не узнает…

— Ну, а потом?

— А потом, когда он будет моим, когда я опять буду держать его в своих объятиях, я сдерну свою маску…

— Ты сдернешь свою маску?..

— Да, да… я сделаю это… И я хотела бы скорее увидеть его лицо в ту минуту… Ха-ха!.. Он никогда

не поверит, что это я — живая Ивон… Я прижмусь губами к его губам так, чтобы он не мог крикнуть. Это будет для него *поцелуй мертвой*… Что ты на это скажешь? А? Я думаю, что эта месть вполне меня удовлетворит. Получше убийства… о, получше убийства! Как ты находишь?

Я вскочил с места. Я больше не мог сидеть здесь. Виски было слишком крепко или меня уже душила какая-нибудь болезнь.

Я бросил на стол деньги и выбежал на улицу.

Туман все еще владел городом. Утреннее небо похоже было на лихорадочно мерцающий опал.

Опять озноб тряс мое измученное тело.

Из облаков выплыли химеры Notre Dame. Я остановился в изнеможении.

О Боже, зачем она мне все это рассказывала? Зачем я ее слушал?.. Почему я не сидел у себя в комнате, скрючившись в своей постели, считая неровные удары своего сердца?.. Ведь я же и так знал, что такое любовь.

1912 г. февраль. Paris.



В МОРЕ{7}

Я все видел. Я лежал на длинных жердях, брошенных на нижней палубе, и все видел… Ночь была тихая; море, как стальной щит, искрилось под лучами полной луны; шхуна шла быстро, слегка потрескивая деревянной обшивкой кают. Берегов не было.

Высоко висело черно-синее небо, все в белых звездах; кругом колебалось море. Наверху шагал вахтенный помощник; иногда слышалась команда:

— Так держать!..

И, как эхо, вторил штурвальный:

— Есть, так держать!..

Внизу и в каютах все спали.

Я смотрел на луну, на звезды, на море и мечтал, когда поблизости услыхал шорох. Тогда я обернулся и увидел высокую тень человека в мохнатой шапке.

Это был перс. Он приподнялся с циновки, на которой лежал, и оглядывался. Мне захотелось

{7} Комментарии: 2.7

Аполлон. 1910. № 7. Под загл. «На шхуне» с посвящением «Леониду Слезкину», датировкой «1909 г. Каспий» и нек. расхождениями: КК.

знать, что он будет делать, и я продолжал лежать неподвижно.

Оглядевшись, он медленно пополз по жердям к носу. Там спало еще несколько персов. Между ними лежал и тот молодой амбал[3], что так весело смеялся, скаля свои белые зубы.

Он был совсем безусый мальчик — стройный и красивый, как бронзовое изваяние Аполлона, но уже носил тяжелые тюки с парохода на пристань и обратно.

Сегодня он насмешил всех нас. Когда мы таскали хлопок в Бендер-Гязе под адскими лучами солнца, одному амбалу сделалось дурно и он упал под тяжестью тюка. Это был пожилой перс, умудренный годами, и борода его была выкрашена сурьмой. Смешно было смотреть на него, как он лежал — бледный — на песке. Тогда к нему подбежал тот молодой безусый перс, повязал ему лоб платком так, как повязывают себе женщины чадру; потом захлопал в ладоши и, прыгая вокруг, кричал:

— Вот какая красивая ханум!

И нам всем показалось это очень забавным, мы много смеялись. А после пожилой перс оправился

---

[3] Примечания: 1.3
Амбал по-персидски — грузчик (Прим. авт.).

и снова забегал с ношей с пристани на киржим и обратно.

Мы ели на ходу чуреки, кричали, шутили и делали свое дело.

Вечером все легли спать.

Мне не спалось, потому что с непривычки я слишком переутомился, а потому Я все видел.

Перс осторожно полз к носу. Туда как раз падал лунный свет, и я узнал в ползущем того пожилого амбала, которому сегодня днем было дурно.

Достигнув спящих, он остановился, потом приподнялся и разом упал плашмя на пол. Трудно было различить, что он делает, но видно было, как он работал руками.

У меня сжалось сердце, но я не шевелился, я даже не крикнул.

Затем перс опять встал. В руках у него было что-то большое и темное. Это был человек, — он старался вырваться, но почему-то молчал.

Тогда перс дотащил его до борта, сбросил на жерди, стал на его грудь коленом и, обмотав ему голову длинным кушаком, который носят амбалы вокруг бедер, привязал к другому концу кушака лот и бросил все в море.

Я слышал, как слабо всплеснула вода у борта…

Мы шли быстро и за нами оставалась чистая,

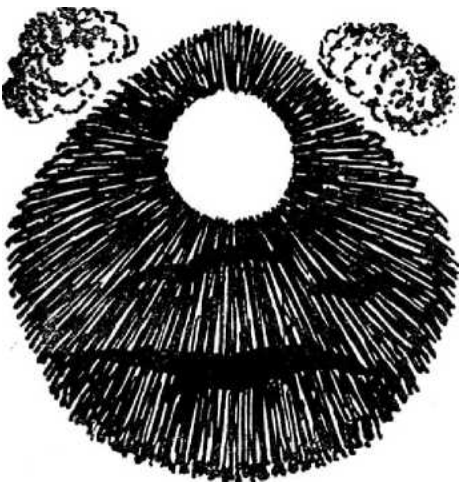
искрящаяся дорога.

Море по-прежнему было пустынным. На востоке белела заря.

Перс пошел обратно к своей циновке, вынул оттуда коврик, разложил его на жердях, сел на корточки и начал громко молиться.

Голос его звучал ровно, торжественно и спокойно…

Я продолжал лежать, не меняя положения, не сводя с него глаз…



ПОД НЕБОМ{8}

{8} Комментарии: 2.8

КК. «Полудница» и «Леший» впервые с нек. расхождениями: Русская мысль. 1909. № 4 (здесь с пометкой: «Из цикла “Нетопыри”»).

Глава 1. Водяной

Под бледной улыбкой утра река проснулась, вздрогнула, точно в ознобе после крепкого сна, широко открыла голубые глаза свои и моргнула небу. И теперь, разметав руки, закинув назад голову, плывет на спине, задевая обидчивые камыши, лаская густой бобрик травы, шурша суетливыми песчинками.

Ползут навстречу росистые деревни, хмурые, не выспавшиеся леса, всю ночь стерегущие кого-то.

Висят разорванные ткани, — белая фата стелется на груди вздыхающей земли — ждет солнца.

А оно, горящее рубинами, уже близко…

Иду по узкой тропинке вниз, к камышам, балансирую с ведром и удочкой в руках. Темный след идет за мной, и росятся ноги. Потом сажусь на кусок парной, красной глины, вонзаю крючок в червяка. Он вьется и скользит между пальцами — хочет жить, но неотвратимо идет к нему смерть, и он замирает, беспомощно виснет и падает в холодную воду.

Четко маячит над омутом поплавок. Я сижу съежившись, вздрагиваю, полный еще сонных видений, в мире когда-то бывшего в сказке гря-

дущего. Вижу еще не пронзенные иглами солнца жуткие глуби и там свое отражение — такое же изменчивое, как и во сне, с таинственным, незнакомым лицом, быть может, когда-то бывшим, когда-то претворившимся в действительность.

Как будто пробуждается во мне новое начало, новыми хотениями, новыми порывами, и радостно-жутко предчувствовать зарождающийся день воскресения — радужный, солнечный день.

Дрожит свежесть под взмахами молодого ветра, шуршат камыши, шепчется вода с песком, лоснится жирными бликами земля.

Поплавок оживает странными, таинственными движениями, точно непонятное существо в страхе предчувствия. Делает несколько порывистых скачков вверх и вглубь, потом совсем уходит ко дну.

Я знаю, что на крючке рыба, знаю, что эта рыба — линь, но не подрезываю ее, а пристально слежу за поплавком, весь уйдя в загадочную жизнь неживого.

И опять воскресает во мне молитвенная радость живоносности утра, дающего силы и движение, остроту желаний, блеск мысли.

Уже странная фосфорически-изумрудная рыба бьется на берегу, широко моргая красными,

круглыми глазами, уже поплавок моей удочки снова ожил на стекле реки, но во мне совсем угас охотник, мне не нужна добыча, не нужна смерть с ее вздрагиванием и судорогами.

Я свертываю лесу, возвращаю к жизни пойманного линя и торопливо раздеваюсь.

Я хочу дышать всем телом, хочу войти в воду, двигать руками и ногами, чувствовать под собой упругий песок, приобщиться к таинственной жизни реки.

Она приняла меня к себе, овеяла холодом молодости, стала гладить спину и грудь, сдернула с глаз моих пелену сна и ночи.

Раздвигаю ломкий камыш, отдуваясь, сжимаю и разжимаю мускулы.

Выше ползет царь-солнце.

Блеклыми тенями уходят последние мысли о ночи, тают лунные слезы-росы, дышат травы землей и лучами.

Где-то там, недалеко, загорается смех. Звонкий и круглый. Так только могут смеяться женщины.

И я плыву на этот смех, скрытый камышом и лозами, надуваю щеки, улыбаюсь светящими радостными глазами.

Меня тянет на этот русалочий зов, волнует непонятными приливами счастья, манит зага-

дочными возможностями.

Я люблю вас — теперь, — незнакомых, прекрасных в зеркале реки и неба, быть может, выплывших из темных глубин, встречающих утро. Я еще не вижу вас, но чувствую ваши зовы, вам самим непонятные, живущие помимо вас в упругости тела, в волнении голоса.

Я люблю вас — таинственных, далеких, манящих, желанных в своей неуловимости.

Так, — издали, под лучами солнца, в переливах радуги, в росистые зори кажетесь вы мне белыми чашечками водяных лилий, цепкими стеблями водорослей, — утренней мечтой о счастье.

Вы пришли поклониться встающему богу, отдаться во власть живоносных лучей, щекочущих струй, вы берете жменями воду и сыпете друг в друга самоцветными каменьями, потому что все это — ваше! Я — водяной царь, — дарю принадлежащее вам по праву.

Но вы испугались? Вы увидали меня, в вас заговорило старое поверье — «мужской глаз красную девицу сглазит»? Полно!

В беспокойных движениях я чувствую гордый и радостный вызов, в темных омутах глаз плещет, заманивает русалка, и рвется наружу знойно-волнующий смех.

Примите меня в свой хоровод… Но они бегут и смеются; в белой пене розовеют молодые плечи и груди… Пусть! — я не гонюсь за вами, — я знаю, что с новым утром вы сами вернетесь ко мне…

Там, где лепечут еще не затихшие воды, стелет свою жгучую сеть пылающее солнце…

Глава 2. Полудница

Мы сидим у шалаша бахчаря, на жестком степном сене, а перед нами льется расплавленное золото песка и неба…

Далеко тянется известковая равнина, спускается с холма между цепких стеблей кавуна и ползет дальше во все стороны — как рассыпанное просо…

Беззвучно внизу и на небе, неслышно рябит воздух и упругой тяжестью ложится на мозг.

Долго мы шли под иглами солнца, — устали спины и ноги, потрескалась кожа, вспухли, полопались губы.

И пока взбирались на холм к шалашу — не было мыслей и не хотелось смотреть вперед, обманывать себя кажущейся близостью.

Перед нами на корточках дид с рыжей редкой бородкой, в артиллерийской фуражке с офицерской кокардой. У ног его арбузы; он медленно берет их один за другим, крякает и пробует их ладонями — готовы ли?

Глаза его серьезны, и в них дрожит усмешка — он привык к зною, с детства дышал он жгучим дыханием степи.

— Та-ак… — тянет он часто и добродушно-насмешливо взглядывает на нас.

И я хочу улыбнуться ему в ответ, мне нравится его лукавая усмешка, но рот не складывается в улыбку, бессильно падают веки.

В шалаше, под боком, за камышовой стеной возятся, кудахчут куры, просовывают клювы между камышинок, бьются о них крыльями.

— Ишь, дуры лобатые, — добродушно тянет дид, но не поворачивает головы и сидит по-прежнему на корточках.

В стороне синий дымок вьется, под ним на тлеющем кизяке стоит черный от копоти чайник. Это для нас дид готовит чай.

— Так, та-ак… — бормочет он.

И хочется плотнее закрыть веки, забыть, что над тобой солнце, а под головой колючее сено, но плавно, как на волнах, начинают колебаться бессвязные мысли, и в испуге широко открываются глаза.

— Жарко у вас, — говорю я присохшим ртом, силясь собрать уходящую бодрость, интерес к новому.

От моих движений так же быстро, как и я, открывает глаза товарищ. Полинялая студенческая фуражка съехала ему на правое ухо, лицо

— точно придавленное какой-то остановившеюся мыслью.

— До черта, — сипло вторит он мне…

А дид по-прежнему чуть видно улыбается одними глазами.

— С дороги… ничего, приобыкнете…

Почему-то подмигивает левым глазом. Потом строго-внимательно водит глазами по нашим ружьям и ягдташам с крыльями убитых кречетов и неопределенно тянет:

— Да-а…

Я чувствую, что ему странны здесь, в степи, наши ружья, крылья убитых птиц, студенческие фуражки, но не стараюсь объяснить себе, почему это так.

— Пусть, — почти вслух говорю я.

Молчит полуденная степь с ярко-бирюзовым небом над ней, с далекими точками кречетов, ровной лентой железнодорожного полотна. Замерли там, на горизонте, ветряные мельницы — точно высохшие пауки, пришпиленные булавками.

Но вот выбрал, наконец, дид арбуз, достал из-за шаровар нож, сочно вонзил его в мякоть, быстро повернул два раза, и в две стороны развалились две половины, мелькнув влажными, розовыми кругами.

— Как кровь, — убежденно кивает нам бахчарь и лезет в шалаш за ложками.

С громким кудахтаньем бросаются ему навстречу в открытую дверь куры. Радостно хлопают крыльями и разбегаются.

— А, черт, — доносится из шалаша, но дид не выходит, долго копается там, бормоча что-то.

Сильно ноет левое плечо от жесткого сена, но нет сил перевалиться на другую сторону.

Товарищ, не дожидаясь ложки, жадно схватился за одну половину арбуза и прильнул губами к розовой мякоти, точно желая всосать ее всю в себя. Нервно ширятся воспаленные ноздри, вдыхая влажность.

И когда дид вылезает из шалаша, мы оба уже покончили с арбузом.

Но старик, кажется, забыл о нас и, поднявшись на свои крепкие ноги, ставит ладонь щитком над глазами и смотрит поверх шалаша на невидную нам часть бахчи.

— Так, так, — кивает он офицерской кокардой, — это Нюра… отто добре… Она загонит этих лобатых дьяволов…

Потом поворачивается к нам и поясняет:

— Внучка моя идет — Нюрка… она мне молоко с хутора носит… Вот запалим огоньку больше,

сварим вам кашу…

И после паузы добавляет:

— Небось, есть хочется — вижу, что голодны…

За шалашом мы слышим движение, чьи-то быстрые шаги, чей- то молодой, звонкий голос:

— А кышь вы, кышь!..

— Это она, — улыбается дид.

Белый, с красными розами, платок, смуглое личико с черными глазами и та же, что у дида, чуть уловимая улыбка в них.

— Здравствуй, дид, — кивает девушка, ставит наземь горшок с топленым молоком и, мельком взглянув на нас, без тени удивления бросает:

— Здравствуйте и вам, казаки!

А дид смотрит на нее и смеется, и в рыжей бороденке его играют жгучие лучи солнца, но он привык к ним, — они не слепят его.

— Откуда ты знаешь, что хлопцы эти — казаки?

И лукаво смотрит на нас.

— Дык, кто же тут есть боле? — полувопросом убежденно говорит она и не ждет возражений, а сейчас же бежит за разбредшимися курами.

— А кышь, шельмы, а кы-ишь!..

***

...Точно ниже спустилось накаленное небо. Точно в жутком молчании страстной полуденной ласки прильнуло на грудь золотистой степи и в жарком дыхании сливается с ней, вздрагивает в судороге опьянения, вспыхивает бесчисленными огнями в каждой песчинке, в каждом камешке...

Тонут вдали пауки мельниц в мареве дрожащего света, и кажется, что там синие, глубокие озера — это небо целует землю.

И странные сны грезятся в эту пору сияющего дня, и хочется уйти от них, уползти куда-нибудь в темную щель, притаиться и ждать, и вздрагивать, прислушиваясь к молчанию света...

— Душно... — чуть слышно шепчут опаленные губы.

А дид опять сидит тут близко, что-то ковыряет заскорузлыми пальцами, с чуть заметной иронией смотрит мне в слипающиеся глаза.

— Душно, — повторяет он, — а ты знаешь, почему душно? Нет, не знаешь!.. Теперь страшно ходить по степи, теперь всякому доброму человику надо сидеть дома... да...

Опять медленным взглядом проводит он по нашим ружьям и линялым, с синими околышами,

фуражкам.

— Ночью и в полдень нельзя ходить по степи… Ночью просыпается она, кругом подходит к чоловику, смотрит ему в очи и не дает пути… А в полдень, когда солнце на средине, — спит степь и плывут по ней ее сны… Так говорят старые люди, и я их видел…

Он задумался и молчит, и уже не видно в его глазах улыбки — они смотрят строго, молитвенно.

Я силюсь не поддаться чарам зноя, ширю веки, стараюсь двигать пальцами рук.

Товарищ сидит неподвижно, зарывшись в сено.

Где-то за стеной изредка кудахнет курица, шипит в котелке каша.

Нюра подходит к диду и, молчаливая, садится рядом, высунув из-под юбки кончик маленькой загорелой пятки.

— И когда идет чоловик, то плывут к нему сны, — точно и не прерывал речи, продолжает бахчарь, — и посреди них Набольшая — тянет к нему длинные горячие руки, и давит голову, и тихонько смеется, и прыгает, и целует… это и есть та самая, — Полудница… Красными очами ворожит она чоловику, и падает он лицом в жаркий песок, и засыпает… И такому никогда не проснуться!..

Тихо, едва слышно замирает голос дида, только долго еще ширится перед глазами белый платок Нюры с красными розами…

Плывет от меня в сторону шалаш и незаметно скользит из-под спины жесткое, хрустящее сено…

Все ярче передо мною белый платок с красными розами, ярче цветут они, раскрывают лепесток за лепестком и остро глядят на меня кровавыми пятнами…

Ниже, все ниже оседает холм, и тянутся к нему жесткие стебли арбузов, — тонкие, гибкие, жгучие, — тянутся и давят пустеющий череп.

Сыпется золотом степь во все стороны — крупные зерна спелого хлеба…

Пляшет неслышно и гибко мелкою рябью сгустившийся воздух, тонкими иглами входит в тело, сдавливает его, и не знаешь, где кончается оно и начинается море жидкого огня.

Наклоняется Жгучий близко бледным светящимся лбом, шуршит горячей сухой кожей и скалит зубы в изнемогающем поцелуе…

***

…Опаленная, прильнула земля к небу…

В последнем напряжении уходящей воли я от-

крываю глаза. Дида уже нет напротив. Он сидит спиной у котелка с кашей.

Белый платок Нюры маячит возле него.

Темно-красный шар солнца низко висит над степью…

Глава 3. Леший

Я иду медленным шагом сквозь тесные ряды сомкнувшихся сосен, одной рукой цепко перехватив ружье, другой отклоняя от себя удары веток и напряженно вглядываясь вперед. Я слышу свое дыхание — глубокое, волнующееся, шорох сухих игл под ногами, вздохи августовской ночи.

Там, наверху — крупные, лучатся звезды, но мне их не видно из-под шапки леса.

Гуще у стволов, реже в просветах тянет острым запахом грибов, сырого мха, рябчиками…

Иду медленно, потом замираю, прикладываю воронкой ладонь левой руки ко рту, протяжно вою:

— Гу-у-у, гу-у…

И жду.

Обостряется слух, раздуваются ноздри, глотая сырость леса; крепче стискиваю холодный затвор ружья.

И откуда-то издалека неверными, срывающимися звуками проползает ко мне ответное:

— Гу-у-у, гу-у…

Весь поворачиваюсь в ту сторону — мягко ложится на плечо чья-то шуршащая лапа, — это

потревоженная ветка…

Час, два брожу так, впитываю в себя запахи леса, невнятные вздохи, трепет убегающих теней, переговариваюсь с волками…

Сначала жутко, — точно незнакомое все, чужое, холодное.

Точно по сторонам шушукаются подозрительно обо мне деревья, недовольны — и гуще сплетаются тени, больно хлещут по лицу смолистые ветви.

И кажешься маленьким, затерянным, и шибко бьется сердце…

Тут — все сильное, понимающее, тайно живущее, широко вдыхающее влажный лунный воздух, а я — человек с затаенным дыханием, как непривычный вор в чужих комнатах.

Я — один среди грибов, шуршащих птиц, упрямых ветвей, лунных блесток…

Но уходит время, бледнеют воспоминания о другом, давно знакомом мире, выше подымается грудь, крепнут ноги, привыкают глаза к таинственному мельканию теней, острее становится слух, и голос, — раньше слабый, неуверенный, — звучит теперь тверже, медленно повышаясь и быстро падая вниз, точь-в-точь так, как воют волки:

— Гу-у-у…

Просыпается в груди что-то новое, то, что было когда-то давно, в детстве, что-то непосредственно яркое, радостно уверенное, и уже тянут за собой лунные блестки, и понятна ворожба молчаливых теней.

Радостно вслушиваюсь в ответные выклики молодых волков, точно вижу их перед собой — серых, со стальными упругими ногами, двумя точками фосфорических глаз. Чувствую, как и у меня вспыхивают глаза и ширятся, дико округляясь, а потом суживаясь, врезаясь в тьму леса.

Легко, слегка приседающим шагом, выхожу на поляну — всю росистую, бледно-зеленую, округлившуюся, точно дышащую.

Тонкий пар плывет над ней низко-низко, бельмами смотрит туда, вверх, на небо с дымчатым кругом луны.

Березы, как свечи восковые, обступили вокруг, вытянулись, стройные, а из-за них выглядывает кто-то косматый и хихикающий…

Точно сказки слушают росистые травы, и ходят по сторонам неведомые звери, что были когда-то и остались в памяти, неведомо откуда пришедшие.

— Гу-гу-у, гу!.. — протяжно вскрикиваю я, а мо-

жет быть, и не я, а кто-то другой во мне, и вдруг подымает меня что-то сильное, безумно-радостное, сжимает мускулы, я приседаю невольно и двумя прыжками — уже на другой стороне поляны.

Как у чуткой лошади, напрягаются нервы. Чувствую на себе немигающий, жесткий взгляд — оборачиваюсь.

Там, между черных кружев рябины, Сильный сторожит меня.

«Это волк», — мелькает догадка, и вслед за ней волной накатывает буйный порыв, руки приподнимают ружье, привычный глаз наводит мушку, и неожиданный выстрел хлещет росистую траву, мелкие ветки, прыгает в сторону и сыплет по листьям…

Напрасно ходил я полночи в зарослях леса, вабил щенков, — мой выстрел распугал их, и они уйдут отсюда, нельзя будет устроить облавы.

Но нет сожалений, нет прошлого, нет будущего. Я полон радостным сознанием зверя, я разбудил на время молчащее эхо, и меня поняли, меня боятся, — я человек, я — зверь!

Смеюсь — счастливый, слушаю, как бьется сердце — ровно, сильными толчками.

И опять иду дальше, но уже березняком, где

просторнее и легче, где брызги-жемчужины мелькают на резьбе листьев, где чертят уверенно летучие мыши.

Я попираю землю, упругую, теплую, чувствую ее в гибкости пальцев, узлах мускулов — точно вырос, приобщившись к ее жизни, поняв ее.

Остановилось мелькание деревьев, рассыпался волхвующий изумрудный свет, упали на землю искры неба и поплыла с холма на холм серебряной лентой равнина — к другому лесу, другим шорохам и теням.

Здесь — люди, огнистые под всполохами пламени, широкие и низкие — двигаются, машут руками. За дымом костра неясные контуры — задумчивые морды лошадей…

Запах махорки, тулупов, тела и гари.

Это они — ночные люди — ночлежники.

И Настька с ними. Статная, с темными кругами глаз, в белом, теперь солнечном платке. Смеется и глядит прямо, не мигая, как там — Серый, и дышит полем.

И другие смеются. Уверенно, кругло.

— Охотник? Что же, присаживайся, — у нас огонек…

Скалят белые зубы — эти люди, пахнущие землей, с понимающими глазами.

— А! твой пришел, Настька… Дождалась! — смеются девки и знают, что так и должно быть.

— Мо-ой, — певуче тянет Настька и кладет мне на плечи руки.

Так мы сидим все в эту серебристо-зеленую ночь и дышим, и понимаем, и живем…

Мягко склоняются над нами теплые лошадиные морды, что-то говорят нам движениями чутких ушей и кивают знающими широкими лбами.

Белые жмутся к ложбине березы, и живет и дышит вместе с нами лес.

Волнами колышется свет — таинственный, претворяющийся в тихую музыку, в образы неведомых существ, когда-то живших, в сказку земли и ночи…

Тухнут искры в небе, вьет седую дымку гаснущий костер, парами ложатся люди, ногами к золе, завертываются в пахнущие тулупы.

Отходим с Настькой медленно навстречу скользящей по горизонту луне, — близко придвинувшись друг к другу, и нет ненужных мыслей о других, могущих увидеть, потому что все понятно здесь, у ног деревьев, в слиянии с ночью, в восторженном служении Богу Земли.

Я целую полные губы, смотрю в ясное, круглое лицо с одним лишь сознанием молодости, упру-

гости мускулов, жаждой жизни.

Там, в темной глубине моей души, хохочет кто-то грубо и радостно, и хохотом откликаются мне темные впадины леса.

Это хохочет Леший.

1907 г. Тихий Дон-Станица.



ПРЕДЧУВСТВИЕ{9}

Надежде Доброхотовой

Лиля сидела со своим братом в угловой гостиной у открытого окна. Ветер ласкался к ее волосам и веял в лицо запахом водяных лилий.

Над озером гасло солнце и озеро было красно, а лес у его берега казался черным.

Чайки и стрижи резали воздух.

Стоящий на столе огарок пылал то желтым, то синим огнем и плакал белыми слезами.

Оба ребенка смотрели на свечу и, кажется, думали одно и то же.

Там, на другом конце дома, умирала их мама.

{9} Комментарии: 2.9

КК. Позднее с небольшими расхождениями под заг. «Второй рассказ» как часть цикла «Клубок ведьмы: Три рассказа» (Вершины. 1915. № 14). Данный цикл был снабжен следующим авторским предисловием:

«В жизни встречается много необычайного, такого, чего наш бедный ум постигнуть не может. Часто простая случайность пугает нас; часто неизбежное мы принимаем за случайность.

Я не мистик, чтобы объяснять все непонятное мне волею потустороннего, но я не настолько горд в своей человеческой гордыне, чтобы считать все доступным объяснению.

Человек несовершенен и, как знать, быть может, его пяти чувств недостаточно для того, чтобы сказать: «Мне все доступно». И лишь мгновениями ему открывается темное в долгие годы.

Здесь я записал все, чему сам был свидетелем и что я слышал от людей, которым не имею причин не верить.

Ведьма потянет клубок и запутает нить, схоронит концы — кто же разгадает ее тайные цели?»

Она давно уже лежала в кровати, — пылающая и обессиленная, и давно дети не слышали ее голоса, потому что их боялись пустить к ней.

Сначала они плакали оба, рвались к больной. Но потом как-то притихли.

Брат еще плакал тихими слезами по вечерам, когда ложился спать. Он привык, что мама всегда крестила его перед сном и читала с ним молитвы — и воспоминание об этом вызывало слезы.

А сестра — она была старше — сделалась молчаливой, почти неслышной и часто сидела неподвижно, точно о чем-то долго и напряженно думала.

Глаза ее широко открылись, и она вздрагивала при каждом неожиданном шуме.

В эти дни к ней очень привязалась большая черная собака — Неро. Умное лохматое животное бесшумно подходило к девочке, клало на ее колени свою морду и пристально смотрело на нее.

А по ночам она взбиралась к Лиле на кровать и ложилась рядом с ней, как человек, вытянувшись во весь рост.

И это ничем не объяснимое поведение животного, всегда такого флегматичного, жутким трепетом наполняло душу Лили.

Девушка боялась спрашивать о маме, боялась

заговорить о ней, хотя все мысли ее были с нею, и это казалось непонятным для окружающих, а отец упрекал ее в черствости.

Но она не возражала на упреки, она боялась маминой комнаты, она была вся под игом какого-то непонятного, но тяжелого предчувствия.

И теперь, сидя здесь с братом, она знала, что там у мамы собрались доктора, что наступил кризис, который что-то должен решить, но ей все это казалось далеким; она была полна своими мыслями, своими представлениями, своей верой в неизбежное.

А когда огонь свечи, колеблемый ветром, внезапно потух, Лиля почувствовала резкий холод в спине и почти невольно проговорила вслух, сорвавшимся голосом:

— Это умерла мама…

И сама ужаснулась своих слов и посмотрела на брата.

В больших синих глазах мальчика стояли слезы, и он ответил ей дрожащими губами:

— Я тоже об этом подумал…

Потом уткнулся лицом в шелковую подушку дивана и заплакал.

А Лиля съежилась, но глаза ее остались сухими.

Теперь все было кончено.

Тяжелая крышка, висевшая над ней, упала. Не было ни надежды, ни веры — совершилось должное.

Мама умерла.

Лиля это чувствовала всем своим существом.

Мамы не существовало больше.

Кто-то холодно и ясно говорил ей это… Но слез не было.

Она смотрела на чаек, теперь розовых от заката, на замершую гладь озера, на гряду леса — и все это отражалось в ее глазах, в ее мыслях. Все это она видела, слышала и понимала отчетливо, как никогда. Но во всем этом была пустота, но во всем этом не было связи, все это говорило:

— Мамы нет…

Она не заметила, как в комнату вошел отец. Бледный, утомленный человек с чуть уловимой радостью в глазах.

Он мягко прошел по ковру, подошел к сыну и горячо обнял его склоненную голову. Казалось, он хотел сказать что-то, но не мог. Потом посмотрел на каменное, неподвижное лицо дочери, и тень упала на его губы.

— Дети, — сказал он, — ваша мама спасена…

Он приостановился, точно не верил своим сло-

вам, и мысленно повторил их.

— Да, да — мама скоро поправится… кризис миновал…

У него появились слезы на ресницах. Еще невыплаканные слезы недавних мук.

— И я пришел за вами… она зовет вас…

Лицо мальчика, помятое от жесткой подушки и красное от слез, мгновенно прояснилось. Глаза вспыхнули верой, счастьем, беспечностью. Он кинулся на шею отцу и лепетал порывисто и быстро:

— Мама, мама здорова?.. мама жива?.. а мы…

Он хотел посмеяться над тем, что они только что говорили с сестрой, но взглянув на нее, умолк.

Она сидела такая же печальная, бледная, худенькая и молчаливая, точно радостная весть отца не коснулась ее уха. Узенькая полоска между бровями сделалась глубже, а глаза казались потухшими.

— Что же ты молчишь? — изумленно, почти враждебно, с эгоизмом успокоившегося, счастливого человека спросил отец, и взяв за руку сына, поднялся.

— Идем…

Она машинально встала и пошла за ними. Она

ничего не хотела, ничему не могла верить. Она твердо знала, что мама ее умерла, когда погасла свечка.

Больная лежала на кровати, бледная и тонкая, с распущенными черными волосами, и смотрела на вошедших усталым, но счастливым взглядом выздоравливающей. Она чувствовала дыхание жизни, вернувшейся к ней, и ничего другого она не хотела знать, кроме радости жизни.

Лиля остановилась на пороге и в упор глядела на мать. Она не подошла к ней и почти не узнавала ее. Точно что-то непонятное, нереальное совершилось перед ней и она хотела проснуться. Она видела, но не принимала в себя видимое, потому что сознание ее жило в другом.

И когда она услышала голос матери, зовущий ее по имени, когда отец взял ее за плечи и силой хотел подвести к постели, она вырвалась из его рук, выбежала на темный длинный коридор, точно убегая от кошмара, и там, забившись в дальний угол, села на пол и заплакала.

Лишь теперь ощутила она всю тяжесть своей утраты и чего-то до боли, мучительно было жаль…

Черный, большой Неро пришел к ней, пристально смотрел не нее и, казалось, понимал

своей темной и таинственной душой зверя.
1908 г.



ЧЕРНОЕ СЛОВО{10}

Я был не в духе, когда ехал на тряском извозчике с редакционного собрания к себе домой.

Серое небо, серые улицы и серые люди раздражали меня.

Проезжая мимо одного углового пятиэтажного дома, я совершенно случайно поднял глаза кверху и остановился на окнах третьего этажа.

Некоторое время я ничего не думал, потом мелькнуло какое-то воспоминание и, когда мы уже оставили за собой этот дом, я вспомнил, кто живет там и обернулся, стараясь что-нибудь увидеть в окнах.

Мне показалось, что какая-то темная тень шевельнулась в одном из них.

Я давно уже забыл ее — маленькую, изящную женщину, когда-то волновавшую меня.

Она года три тому назад вышла замуж за полковника Костетского и с тех пор я ее не видал. С моей стороны несомненно было сильное увлечение, но некоторые недоразумения отдалили нас друг от друга.

{10} Комментарии: 2.10
КК.

Я знал от друзей, продолжавших бывать у нее, что она стала матерью, что она счастлива. Потом и эти вести стали редки. Она ушла из моей памяти.

И вот теперь случай заставил меня поднять глаза на окна ее квартиры и вместе с воспоминаниями мелькнула вдруг совершенно нелепая, ни на чем не основанная мысль, но упрямая и жуткая в своей неожиданности.

Мне показалось, нет, — я был почти уверен, что у Костетской какое-то горе, что кто-то близкий ее умер.

Почему, какими путями пришла ко мне эта мысль? Что дало повод? Мое скверное настроение, эта тень, мелькнувшая в окне?

Она пришла откуда-то со стороны, ничем не связанная с моими мыслями, точно ворон каркнул мне ее, пролетая в осеннем небе — пришла и не отступала от меня. Передо мной стояло лицо Костетской, я слышал ее слезы.

— Но ведь это глупо, — почти громко бормотал я, — что за сумасшедшие мысли?

И, чтобы оправдать себя, злорадно спросил задремавшего извозчика — не думает ли он, что ему следует еще что-нибудь заработать за этот день. Но он, как видно, этого не думал, так как лошадь

его продолжала мотать головой и спотыкаться.

Я свистел, подсчитывал, сколько у меня должно было остаться денег в кошельке.

Напрасно.

Упорно ко мне возвращалась одна и та же навязчивая мысль:

— У нее кто-то умер.

Да почему, черт возьми, почему? Муж ее здоров как вол, сынишка тоже…

Меня начинало изводить это. Становилось холодно в осеннем пальто…

Мы теперь ехали по проспекту. Обычная вечерняя толпа медленно двигалась по тротуару.

Зажигались фонари.

Далеко разлилось мутное зарево.

Кто-то окликнул меня. Мой приятель махал мне, чтобы я остановился.

Когда он сел рядом со мной, то сразу же закидал меня массой новостей, балагурил, смеялся.

Он всегда был уравновешен и весел. Его веселье заставило меня забыть о темной мысли, овладевшей мною.

Я начал рассказывать об инциденте, разыгравшемся вчера на премьере в одном из театров.

Приятель слушал внимательно, потом неожиданно схватил меня за руку, точно боясь забыть

передать мне что-то и, делая изумленное лицо, сказал:

— Ах, да, — прости, что перебиваю тебя, — но только что вспомнил… Представь себе, у Костетской умер муж. Этот здоровяк. Кто бы мог подумать!

Я смотрел на приятеля широко раскрытыми глазами. Страх зажал мне рот. Мне казалось, что я брежу. Но это была несомненная действительность.

1910 г.

КРАСНАЯ КОФТОЧКА{11}

Н. А. Зборовской
Слушайте, если хотите, странную повесть мою…
Ст. романс.

I

Однажды мой приятель, художник, рассказал мне следующее.

Я был тогда, еще молод, очень молод. Я занимался в мастерской одного выдающегося живописца и ничего не хотел знать, кроме своего искусства и любви…

Я влюблялся в каждое хорошенькое личико — в натурщиц, незнакомок, встречаемых на улице, актрис, горничных… Я был очень предприимчив, и нельзя сказать, чтобы я не пользовался успехом. Меня тянула жизнь, я захлебывался в ее случайностях и целиком отдавался ей, забывая себя, не жалея ничего, радуясь новому, как лучшему счастью. Есть люди, которые ищут разнообразия

{11} Комментарии: 2.11
Сочинения.

и никогда не находят его. Есть люди, которые ищут счастья и никогда не бывают счастливы. Они похожи на купчих, надевающих праздничные платья, чтобы было весело; они думают, что достаточно взять корзинку и пойти в лес, чтобы найти боровик. Я уверен, что разряженным купчихам всегда скучно, а боровик можно найти только по вдохновенью. Потому-то я никогда ничем не задавался, и жизнь сама шла мне в руки.

Однажды я прочел объявление:

«Приезжая молодая девушка ищет какого-либо места, может быть натурщицей. Видеть от 11 ч. утра до 8 вечера. В. О., 12 линия» — следовал полный адрес.

Я часто прочитывал объявления, так как между ними попадались иногда очень забавные, но это меня почему-то особенно заинтересовало.

«Ищет какого-либо места, может быть натурщицей». Всего две строчки. Несомненно, здесь была нужда, нужда молоденькой девушки, затерянной в столице, и потому более несчастной, чем кто-либо другой. Но не страданье толкнуло меня пойти и посмотреть на эту девушку, а нечто более похожее на любопытство. Если бы это была обыкновенная натурщица, равнодушная к своему ремеслу, она не могла бы увлечь меня;

но здесь было не то. Бедная девушка, до этого стыдливо скрывающая свое тело, берегущая его, быть может, только для одного, для избранного, решилась наконец, кто знает, после какой борьбы, обнажиться перед посторонним ради куска хлеба. Это казалось новым, это интриговало. И я пошел.

Солнце садилось в лиловую мглу морозного тумана, и холод стоял такой, что трудно было дышать. Совсем окоченевший, я, наконец, добрался до меблированного дома, где жила молодая девушка. Это был скверный, грязный меблированный дом, в котором ютится разная столичная мелкота, где пахнет прогорклым маслом, лежалым бельем, где прислуга ходит всегда сонная, а жильцы не стесняются бродить по коридору без пиджаков. Я постучался в 14-номер. Молодой голос крикнул:

— Войдите!

Перед дверью стояла девушка лет 19–20 с ребенком на руках.

Я замялся:

— Простите, — это вы публиковались в газете?

— Я, я, — ответила девушка и, поставив ребенка на кровать, за решетку, протянула мне руку.

И красивый жест, с которым она подала руку,

и наклон головы, несколько повернутой набок, и чуть откинутая назад тонкая ее фигура — все заставило меня насторожиться.

— Извините, что я в таком виде, но когда есть ребенок и нет няньки — трудно быть аккуратной.

Она сказала это просто, мило картавя и ласково улыбаясь.

Только теперь я заметил, что точно, на моей собеседнице кофточка была старенькая, подколотая булавками, и такая же старенькая серая юбка сидела боком. Но, право же, это шло к ней, к ее матово-бледному лицу, гибкой шее и белокурым волосам.

— Я, собственно, на минутку, — начал я, и боясь, и желая остаться, — я — художник… мне нужна натура, и если вы…

Она вспыхнула на мгновенье, но сейчас же оправилась.

— Хорошо, мы поговорим об этом… Снимите пальто и присядьте.

Я охотно повиновался.

Чтобы начать с чего-нибудь, я спросил:

— Какой славный ребенок — это мальчик или девочка?

— Девочка, — ответила она, — не правда ли,

какая она у меня большая и здоровенькая! Вы ни за что не угадаете, сколько ей времени…

Говоря это, она легонько дотронулась двумя согнутыми пальцами до стола и сделала такое движение губами, точно хотела плюнуть.

Я улыбнулся.

— Вы боитесь сглазить свою девочку?

Она звонко, неудержимо захохотала.

— Да…. да… я очень суеверна, но как вы угадали?

Наш разговор переходил с предмета на предмет с удивительной быстротой. Я успел заметить, что моя собеседница не могла долго сосредоточивать своего внимания на чем-нибудь одном. Как только я дольше останавливался на какой-нибудь мысли, лицо ее сейчас же делалось безразличным, глаза, устремлялись вдаль, и она совсем замолкала. Но зато с необыкновенным оживлением, иногда с поразительным остроумием умела она вспоминать. Ее воспоминания были неистощимы. И сколько здесь было странных случаев, удивительных совпадений, таинственности.

Незаметно мы стали друзьями. Казалось, между нами не было никаких тайн.

Она мало интересовалась мною и моим прошлым, но как будто и без этого узнала меня

прекрасно.

Девочка — Женя — скоро очутилась у меня на руках, мать ее, которую звали Верой Орестовной, хлопала в ладоши и смеялась сама, как девочка.

Ничего, что бы походило на придавленность, горе, безвыходность положения не отражалось на лице молодой женщины. Напротив, все говорило о полной беззаботности и бодрости духа. Такое сочетание нищеты с веселостью меня трогало.

«Она просто дитя», — думал я.

Только уже совсем собравшись уходить, я вспомнил о том, зачем пришел сюда.

— Но, Вера Орестовна, как же наше дело? Вы согласны позировать?

Она точно сейчас очнулась от сладкого сна и перешла в скучную жизнь.

— Хорошо, хорошо, — конечно, — почти машинально ответила она. — А когда это нужно?

Меня смутило такое отношение.

— Вам, может быть, тяжело это, неприятно? — спросил я, стараясь говорить мягче. — Вы не стесняйтесь… Тогда я найду вам какое-нибудь другое занятие… переписывать, например…

— Нет, что вы? — вдруг засмеялась она. — Я — переписывать? Да у меня терпения не хватит! Нет уж, видно, мне осталось одно — быть натур-

щицей…

Она на время умолкла, потом добавила:

— Чтобы стать кокоткой, я слишком брезглива — этого никогда не будет, а натурщицей — отчего же… Только знайте, что это совершенно не из любви к искусству… Многие меня называли художественной натурой, но у меня нет никаких талантов и никаких целей — вот мое несчастье!..

Она опять весело засмеялась.

Я попросил ее прийти завтра в 10 часов утра. Она задумалась:

— А как же быть с ребенком?

Но сейчас же успокоилась, решив попросить соседку постеречь его.

Тогда я вынул задаток, объясняя, что это всегда так делается, но она почему-то не взяла его в руки, а попросила положить на комод. Я, удивленный, исполнил ее желание и ушел.

II

Не знаю, было ли то очарование, удивление, влюбленность или простое любопытство, — но я долго думал о своей случайной знакомой. Мне еще не доводилось встречать таких, как она. Что в ней было особенного — трудно сказать. Но она затягивала, как затягивает изменчивое отраже-

ние в воде. Она не давала времени внимательно остановиться на себе, как сама не останавливалась подолгу ни на чем, как менялось выражение ее тонкого лица, Даже цвета глаз ее я не мог определить. В ней не чувствовалось нервозности, но некоторые движения ее были странны и необъяснимы. Она смеялась беспечно, как ребенок, но в знании людей далеко не была ребенком.

Я с нетерпением ждал ее прихода. Сбегал за гиацинтами в цветочный магазин, уютнее расставил мебель, припрятал подальше кое-какие неудачные этюды. Но пробило десять, — а ее не было, перешло за одиннадцать, — она не появлялась.

Я нервничал, как влюбленный, которому назначили свидание, я хватался то за книгу, то просто так, ни о чем не думая, смотрел сквозь большое полукруглое окно на крыши соседних домов и сизую даль взморья. Наконец, в половине первого, когда всякая надежда оставила меня, когда я, мрачный и подавленный, исступленно занялся очинкой карандашей — дверь отворилась, и на пороге появилась Вера Орестовна.

— Наконец-то! — совсем непроизвольно вырвалось у меня, и я кинулся ей навстречу.

— Разве я так опоздала? — удивленно спросила она. — Ну вот, это всегдашнее мое обыкновение…

Вы не сердитесь?..

Конечно, я уверил ее, что ничуть не сержусь.

Она с деловым видом сняла шляпу и пальто, одобрительно оглядела мою комнату, потерла руками замерзшие щеки и улыбнулась.

— Что же? Я готова. Надо спешить, так как скоро будет темно, а меня ждет моя Женя.

Казалось, я больше смущался, чем она. Привыкший равнодушно глядеть на обнаженных женщин, я боялся думать о том, что увижу Веру Орестовну голой, и рад был, что она сама предложила начать сеанс.

Она зашла за ширмы, а я занялся приготовлениями. Когда, окончив, я поднял глаза, то увидел перед собой обнаженное тело своей натурщицы. Она только опустила лицо, на котором горела легкая краска смущения, но движения ее были свободны, руки лежали вдоль узких бедер, маленькая крепкая грудь дышала спокойно.

Как я ни боялся этого мгновения, но ее спокойствие сразу же вернуло мне ушедшее было самообладание, а чистое девичье тело, тело Хлои, не давало зародиться никаким темным мыслям.

Я начал работать.

Потом я увидел, что Вере Орестовне стало холодно; бросил уголь и хотел накинуть ей на плечи

вот эту шаль, что ты видишь на том диване. Чудную алую шаль, привезенную с Востока, — мою гордость. Но модель, с непонятным мне ужасом, отшатнулась от нее и, молчаливая, забилась в угол. На мои просьбы и вопросы она отвечала молчанием; потом быстро оделась и ушла.

На другой день она пришла с девочкой. Она объяснила это тем, что соседка ее плохо смотрела за Женей, и Женя разбила себе головку. Она показывала мне синяк на лобике дочери, и я должен был поцеловать это место.

Пока мать стояла обнаженная передо мной и не переставая болтала, вспоминая свою гимназическую жизнь, ее дочь ползала по ковру, рвала валявшиеся бумаги, забавно лепетала на своем непонятном языке и, наконец, заставила меня прибирать за собою.

Так это продолжалось и в следующие дни.

Меня все более удивляло то непонятное в начинающей спокойствие, с которым Вера Орестовна держалась при мне обнаженной. Даже обычной краски не видал я у нее в последующие дни. Она стояла — нагая — так же непринужденно, как и одетая в свою старенькую кофточку, — говорила много забавных вещей, передвигая мою мебель, забираясь в папки с этюдами, и точно не замеча-

ла, что она голая.

Сначала я принял это за бесстыдство, меня даже покоробило несколько, — потом я понял, что хотя она и женщина, и у нее есть ребенок, но в ней еще не проснулся инстинкт самки, и она не знает всей жгучей прелести стыда.

Тогда я полюбил ее — эту странную, дикую девушку-мать, — полюбил ее голос, ее встревоженную душу, ее холодное в своей невинности тело. Я пытался проникнуть в тайну ее мыслей, — всегда необычных и неожиданных, в непонятную неровность любви ее к девочке своей, похожей, по ее словам, на отца; болел за ее одиночество. А она только смеялась или рассказывала, безразличная к внешним событиям жизни и болезненно-чуткая к ее тайнам.

Как-то раз, с большими предосторожностями, боясь любопытством своим встревожить ее больное место (оно мне казалось тогда таким), я спросил ее о ее возлюбленном.

— Почему вы расстались? — спросил я.

Я уже знал, что он сильно любил ее, хотел жениться на ней (он был женат и вел дело о разводе с женою), но я никак не мог понять их размолвки.

— О, я изводила его ежедневно, я доводила его до бешенства, — без тени неудовольствия ответи-

ла мне Вера Орестовна. — Я плевала в него, рвала его бумаги, отнимала у него свои карточки… Он умолял меня не делать этого, падал на колени, целовал руки, унижался передо мною, иногда бил меня… Как он смешон был в такие минуты!..

Она искренне рассмеялась.

— Вы знаете, он совсем потерял самолюбие… и хотя его жизнь превратилась в ад — не уходил от меня.

Я смотрел на эту женщину и не верил своим ушам, я не находил слов.

— Наконец, я ушла сама от него, — добавила уже тише Вера Орестовна, — и написала, что не люблю, хотя любила по-прежнему… Он молил вернуться — я не вернулась.

— Но с чего же началось ваше охлаждение? — все еще не понимая, допытывался я.

— О, я хорошо не помню… из-за пустяков… Сначала я была очень уравновешенной. Я всегда успокаивала его, когда он нервничал, но потом… Он объяснял это моей ранней беременностью… щекотливостью моего положения, нашей необеспеченностью… быть может, я не знаю… Но это началось с того дня, как он надел красный галстук…

— Красный галстук? — растерявшись, спро-

сил я.

— Да, — красный галстук…

— Но почему же? Вам он не нравился? Да наконец, разве можно ломать жизнь из-за такого пустяка!..

Я волновался, расспрашивая ее, но она уже больше не говорила, и лицо ее стало безразличным, ничего не выражающим.

Она ушла в этот день так же скоро, как и тогда, когда я хотел накинуть ей на плечи снова восточную шаль.

III

Случилось так, что Вера переехала ко мне совсем.

Это вышло неожиданно, как и все, что она делала в минутном порыве, быть может, и искренней любви; неожиданно до того, что я и сам не мог опомниться. Конечно, это стало давно моим сильнейшим желанием, я не высказывал его, но она угадала и совершенно просто спросила меня:

— Хочешь, мы будем жить вместе?

С этого дня я стал ее рабом, послушным исполнителем малейшего ее желания. Я почти забывал о себе, о своих обязанностях, о своих друзьях. Была ли то чувственность? Вряд ли… Любовь… — не

знаю. Чувство это было сильнее чувственности и острее любви. Нас ничего не связывало, как людей. У меня до того дня были свои интересы, свои цели, чуждые ей, а теперь они все растаяли, заменившись одной мыслью о Вере.

У нее никогда не было никаких стремлений, она жила Бог знает чем; Бог знает, какой источник поил ее душу. Жизнь моя вся ушла в мелочи, в заботы. Я бредил с открытыми глазами. Иногда, вырвавшись из этого угара на свежий воздух, я невольно оглядывался, точно после сна, и с тоской видел, что жизнь уплывает от меня, что все уже ушло вперед, а я, как оторванная от буксира лодка, беспомощно кручусь в водовороте. Но я был счастлив. Это было похоже на приступы начинающейся болезни, на первую затяжку опиумом. Время переставало существовать, голова кружилась, мысли путались…

Но это далеко не было безмятежное счастье.

Вера никогда не была ровна со мною. Она то ни на шаг не отпускала меня от себя, то запиралась в своей комнате и не хотела меня видеть.

— Ты мне противен, — раздраженно говорила она, — можешь уходить сегодня же на весь день…

— Но почему же?

Она едко улыбалась и молчала. В такие минуты лицо ее было отвратительно, — я готов был задушить ее своими руками. Но все-таки я не уходил, не уходил, как и тот, ее первый муж. Я всегда оказывался виноватым и вымаливал прощение.

Я не узнавал себя, я не знал, куда ушла моя былая гордость. Минутами я сам себе был противен.

«Надо взять себя в руки, — думал я. — Ты похож на тряпку, ты перестал быть мужчиной…»

Но стоило ей взглянуть на меня ласково, сказать пустое слово, и я опять терял над собою волю.

Прости, я уклонился в сторону. Невольно в воспоминаниях своих я ушел от главного. Ты видишь теперь, с кем столкнула меня судьба, что это был за человек.

— Ты знаешь, мы тут долго не проживем, — сказала она вскоре после переезда ко мне.

— Почему ты думаешь?

— Да так, я знаю…

— Но все-таки?

— Ты разве не слышал? каждую ночь скрипит паркет.

— Слышал… но это оттого, что дом наш недавно выстроен.

— Нет-нет, — не то…

Она больше не спорила, но никто не мог разубедить ее в ее уверенности. Жизнь точно подтверждала ее предчувствия. Действительно, не прошло и месяца, как нам пришлось перебираться, — хозяйка заявила, что наша девочка мешает соседям.

Во всех действиях Веры громадное значение имели какие-то непонятные для меня соображения. Ее настроение всецело зависело от мелочей, которым ни ты, ни я не придали бы никакого значения. И изумительнее всего, — эти ее соображения имели такие же реальные следствия, как и наши, построенные на вполне естественном ходе событий.

Она жила в каком-то своем мире, где многое, ничтожное на наш взгляд и даже не замечаемое, приобретало громадное значение, становилось причиной и следствием, руководило всеми ее действиями.

Прошло четыре месяца со дня нашей встречи. Наступил петербургский май с белыми ночами, с солнечными зелеными днями, с радостной пестротой витрин, запахом нарцисса, с неуловимыми, но обольщающими надеждами.

Я возвращался домой в одном из своих самых радостных, самых светлых настроений, когда

все кажется прекрасным, а былые огорчения — ничтожными. Я купил по дороге ландышей и фиалок, потом, проходя мимо модного магазина, вспомнил о Вере. Мне захотелось сделать ей маленький подарок. Я люблю женские наряды, их бесчисленные краски, их легкость и капризность, их торжествующую бесцельную красоту.

Глядя сквозь толстое сверкающее стекло витрины на богатый эталаж всевозможных кофточек, юбок, кружев и вышивок, я невольно представлял себе изящную фигуру Веры, ее белую шею, незаметно сливающуюся с плечами, ее тонкий греческий профиль, бледнеющий в волне золотых волос. И я невольно заулыбался, взволнованно подумав, как была бы она восхитительна вот в той ярко-алой кофточке, совершенно гладкой и свободной, со строгим вырезом и широкими рукавами. Никаких украшений, ничего лишнего, только нежная, мягкая, шуршащая шелковая ткань, окрашенная горячею кровью.

Восхищенный созданным видением, я сейчас же купил приворожившую меня кофточку и сел на извозчика, чтобы скорее увидеть Веру.

Она меня встретила необыкновенно радостно.

— А я так ждала тебя, — воскликнула она и тотчас же добавила чуть слышно, — и так люблю

тебя сегодня.

Солнце залило всю нашу комнату; в настежь открытое венецианское окно веяло морем. Белые стены мастерской слепили глаза.

— Я принес тебе подарок, — сказал я, — догадайся, какой?

— Кофточку? — радостно улыбаясь и уверенно кивая головкой, спросила Вера.

— Да, но откуда ты знаешь?

Она засмеялась.

— Я все знаю… Нет, я шучу, конечно… но в твоих руках желтый конверт с названием магазина… Ничто другое сюда не поместилось бы… Ну же, покажи мне ее…

Тогда я усадил Веру на диван, бросил ей на колени стебли белых ландышей и медленно вынул из конверта свой подарок. Я не видал лица Веры, но вдруг почувствовал прикосновение холодных пальцев к своей руке. Я поднял глаза.

Вера сидела сама не своя.

— Что с тобой?

— Уходи, уходи, — шепотом сказала она. — Да уходи же!

— Но почему?

— Слышишь, уходи… Я никогда не надену этой кофточки!.. Унеси, выкинь, променяй ее, но толь-

ко чтобы я ее не видела..

Я обиделся. Я не ожидал, что так скверно примут мой сюрприз. Мелькнуло воспоминание — красный галстук ее первого мужа, — но все-таки я не находил объяснений.

— Это глупо, в конце концов, — сказал я с раздражением. — Опять твои непонятные капризы! Я хотел сделать тебе удовольствие, я радовался… Это неделикатно даже!

— Может быть, — сухо ответила она, и глаза ее стали бесцветными, невидящими, — но больше не подходи ко мне, пожалуйста, со своей кофточкой… И можешь сам уходить.

Я бережно сложил свой неудачный подарок и, обозленный, вышел в другую комнату. Накипала глухая обида. Я никогда не чувствовал себя таким оскорбленным.

Через десять минут Вера сама пришла ко мне. Она первая никогда не целовала меня, только ласково улыбалась.

— Ну? — спросила она.

— Что — ну?

— Перестань дуться. Сегодня такой хороший день. Устроим что-нибудь.

— Я ничего не буду делать, никуда не пойду и не стану с тобой разговаривать, если ты мне не

объяснишь, что вое это значит.

— Опяать начинается, — поморщилась Вера и положила мне на голову свои руки. — Брось, право, экий ты…

— Не я, кажется, начал…

— Но что тебе нужно?

— Я хочу знать, почему ты не приняла мой подарок.

— Не могла…

— Как не могла?

— Очень просто…

— Объясни же…

Я протянул к ней руки и посадил ее себе на колени.

— Ну, рассказывай, моя глупая, умная головка…

Обиды как не бывало. Я с любовью смотрел в ее лицо.

— Да ничего особенного… Я ненавижу красный цвет и никогда не надену красной кофточки.

— Почему?

— Потому что…

— Какие глупости! — рассмеялся я.

— Нет, не глупости, — печально и убежденно ответила она, — далеко не глупости…

Вера поежилась, боязливо прижимаясь ко мне.

— Нет, нет, я никогда не надену красное…

Мне самому стало не по себе, но я старался быть спокойным и начал доказывать ей, что страхи ее нелепы. Вера слушала, но не сдавалась. Я просил, умолял ее надеть мою кофточку. Для меня это стало вопросом самолюбия.

— Если ты меня любишь, ты наденешь мою кофточку, — твердил я. — Посмотри, какая она красивая и как она пойдет тебе! Неужели ты не веришь моему вкусу?

— Верю, милый, верю!

— Ну, вот и хорошо, а твои страхи ни на чем не основаны. Ведь я же люблю тебя и у меня нет желания причинить тебе неприятность, посуди сама!..

Наконец, Вера решилась. Я сам помог ей одеться. Когда я подвел ее к зеркалу, она радостно улыбнулась.

— Ты видишь, как хорошо… Я непременно напишу твой портрет в этой кофточке. Как горит золото волос на красном шелке, как бела твоя шея… Даже глаза твои стали похожи на две фиалки…

Она смеялась, слушая мою восторженную болтовню.

IV

Мы решили отпраздновать этот день.

В сумерки, которые падают внезапно перед наступлением белой ночи, мы вышли из дому, — она в своей красной кофточке, — я — в своем весеннем костюме. Мы смеялись, как два влюбленных, радостные и возбужденные недавней ссорой, предстоящей «кутежкой» и одержанной над собой победой. Она — несла как вызов — свою красную кофточку, счастливая моим восхищением.

Мы взяли автомобиль и поехали на острова.

Влажный соленый ветер несся к нам в лицо вместе с гулом встречных автомобилей и желтыми искрами огней. Высокий ряд домов Каменноостровского проспекта сменился тьмой деревьев Крестовского парка и опаловыми водами озер.

Вера жалась ко мне. Мы смолкли, — наслаждаясь, ни о чем не думая, чувствуя, как сильно бьются наши сердца. Когда мы остановились, Вера долго не могла очнуться.

— Как хорошо, — наконец произнесла она, — и как страшно…

— Почему страшно? — спросил я, удивленный.

— Не знаю…

Мы ужинали в плавучем ресторане, над самой водой, ласково плескающейся о борт и тихо качающей нас. Конечно, вокруг нас стоял немолчный гул человеческой толпы, звенели стаканы, стучали стулья, но немая ширь реки с темными островами зелени, окрашенная неверным светом вечернего восхода, точно окружила нас со всех сторон, и нам казалось, что мы были совершенно одни за своим маленьким столиком, под бледным небом.

Когда нам налили шампанское, я поднял свой бокал и улыбнулся.

— Выпьем за красную кофточку…

Вера не ответила, потом точно проснулась и рассмеялась.

— Конечно, выпьем…

Ее красная кофточка — Вера сняла свое манто — ярко горела на сером фоне реки; из-под широкой шляпки блестели чуть пьяные глаза, вечно двигающийся рот приоткрылся.

— Я хочу поцеловать тебя, — шепотом сказал я ей, перегнувшись через стол.

— И я тоже…

Тогда мы встали и опять поехали.

Теперь мы неслись с необычайной быстротой, — потому что путь был свободней, — с

бешеным свистом рассекали воздух. Мы то ныряли в темный тоннель густо заросших аллей, то выносились на простор, сразу охваченные холодным ветром реки. Казалось, и шофер и автомобиль угадали наше тайное желание нестись как можно скорей, так, чтобы забылось время, ушло пространство…

Мы прижались тесно друг к другу, слив свои губы, побежденные любовью.

И вдруг Вера судорожно вытянула руки, отводя мои плечи от себя, в ужасе широко раскрыв глаза.

— Назад! — в перехваченном дыхании крикнула она.

— Как назад? — не понял я.

— Ради Бога, скорее, скорее назад… умоляю тебя…

— Но почему? Что такое?

В ее голосе была ненависть.

— Я говорю тебе — едем домой, ты понимаешь, наконец!

— Опять вздор какой-нибудь, — возражал я, поморщившись. — Ты не можешь без этого.

Я еще чувствовал ее поцелуи на своих губах, и мне обидно было думать о чем-нибудь другом.

Она вспылила.

— Послушайте, шофер, возвращайтесь назад! Сейчас назад, на Петербургскую…

Я схватил ее за руку.

— Да постой, сядь же, успокойся…

Она совсем вышла из себя:

— Ах, ты не хочешь? Ты не хочешь?.. Так я сама! Сама…

Она открыла дверцу и выпрыгнула на дорогу. Автомобиль остановился далеко от нее. Я побежал к ней. Она подымалась с земли, обезумевшая от охватившего ее волнения.

— Ты не ушиблась? — спросил я.

— Нет… уходи, я пойду сама… ты подлый!..

— Но, голубка, зачем так волноваться? Если хочешь — мы вернемся, я, право, не думал настаивать.

Она, наконец, согласилась ехать со мною.

Мы повернули домой.

— Ну, вот мы и едем… успокойся же и скажи, что случилось…

— Ужас, ужас… — вместо ответа бормотала она. Руки ее дрожали, она не могла усидеть спокойно на месте.

Тогда я отвернулся и стал смотреть на мелькающие навстречу дома… Все во мне кипело от негодования.

Расстроить так нелепо, так грубо дивную прогулку! И ради чего? Я считал себя самым несчастным человеком в мире. За что люблю я эту женщину, эту истеричку?

Что с нею? Припадок… Она, быть может, слишком много выпила вина?.. Бедная, я все-таки очень грубо обошелся с нею. Мне стало грустно… Я обернулся к Вере и попробовал приласкать ее. Она брезгливо отодвинулась от меня.

Я принужден был молчать. Едкая жуть неприятно бередила сердце. Я не мог понять, откуда идет она, но чувствовал, что не в силах бороться с нею. Чем ближе к дому, тем становилось томительнее. Холодная окаменелость, тупое ожидание, какое должен чувствовать человек, стоящий под готовой оборваться на него лавиной, владели мною. Я смотрел перед собою, ничего не видя, боясь пошевелиться.

Наконец, автомобиль остановился.

Я никогда не забуду этого мгновения. Ни до, ни после того я не чувствовал такого почти физического ужаса. Мне кажется, что все, что я делал потом, — выходило само собою, без участия моей воли.

Вера с криком кинулась наверх по лестнице. Я следовал за нею.

Нас встретила нянька. Ее лица я не помню. Оно показалось мне белым бесформенным крутом.

— Что же? — спросила Вера.

Нянька забормотала что-то. В спальне горела свеча, спущены были шторы.

«Почему она зажгла свечу, — подумал я, — вот странная».

На кроватке лежала Женя. Лоб ее был прикрыт полотенцем. Девочка не плакала, а пищала, точно котенок, — совсем тихо и недоумевающе. Все ее тело колотилось в мелкой дрожи, ножки то сжимались в коленях, то вытягивались.

— Вот, вот, — шептала Вера.

Она не подходила к своей дочери, точно боялась ее, и только издали тянула к ней руки.

— Что же с ней такое, няня, что же с ней?

И вдруг упала на колени; ударилась головой об пол и зарыдала.

Я впервые слышал, как она плачет.

— Да Бог ее знает, — объясняла нянька. — Вышла в коридор, слышу, плачет… прибежала, а она, болезная, лежит на полу, головка разбита..

— Ну, успокойся, ну, я прошу тебя, — говорил я, склонясь над Верой, — ну, подыми лицо…

Она выпрямилась. Кулаки ее были сжаты, глаза горели, как угли.

— Уходи вон! — крикнула она мне в лицо. — Слышите! Я требую, чтобы вы ушли… У… подлый, подлый, подлый!

Она не находила слов, дрожащими руками разрывая на себе кофточку.

— Вот вам она — вот!

Она бросила мне клочки красного шелка.

— Да уходите же!.. Или вас нужно гнать палкой?

Она точно забыла совсем об умирающей дочери, полная бешеной ненависти.

Я вышел, в коридоре сообразил, что надо позвать доктора. Обиды во мне не было, все точно бесконечно далеко ушло от меня. Приведя доктора, я остался поджидать его в передней. Он вскоре вышел.

Мне даже не пришло в голову спросить его о Жене. Он сам обратился ко мне.

— Все напрасно — она не выживет. Сотрясение мозга, конвульсии…

Я еще раз заглянул в спальню. Вера стояла над кроваткой ребенка. Увидев меня, она молвила спокойно и холодно:

— Уходите сейчас же из дома и не приходите до завтра вечера. Слышите? Это моя последняя просьба. Если вы уважаете себя, вы ее испол-

ните…

Я покорно вышел.

Все последующее выскочило у меня из сознания. Где я спал, с кем говорил, что делал — не помню.

На следующий вечер я вернулся домой.

Тихие, одинокие комнаты встретили меня. Впервые захолонуло сердце.

На своем столе я нашел конверт. В нем — три строчки:

«Прощай. Я уехала от тебя навсегда. Не старайся разыскивать меня. Напрасно — я никогда не вернусь к тебе. Вера».

Больше страха было во мне, когда я читал эти строки, чем тоски. Я не понимал того, что произошло. Я и теперь не понимаю, кто была моя золотокудрая Вера… Ясновидящая, мудрая нечеловеческой мудростью, или просто — психопатка? Не знаю…

1911 г., февраль.



ДУХ ПРОТИВОРЕЧИЯ{12}

Н. Кузнецову

Страшась двойственности всей своей жизни, которая, несмотря на кажущееся внешнее благополучие, была полна непонятным холодом тяжелого предчувствия, — я любил парадоксы за их противоречие затасканным истинам действительности.

Знакомы ли вы с тем чувством, когда страстно хочешь доказать себе и другим то, во что сам не веришь?

Это чувство — часть моей души. Невольно захватывает игра противоречия с самим собой и в конце концов доходишь до Рубикона, за которым начинается сумасшествие.

Ребенком я забавлялся, пугая своих братьев и товарищей, с горячностью доказывая существование всевозможных фантастических существ, в которых сам не верил. С годами эта страсть развилась.

Одно время у меня нашлись, среди товарищей,

{12} Комментарии: 2.12
КК.

многочисленные последователи и мы даже основали особый кружок — «кружок противоречия». Но он просуществовал недолго, до того дня, когда один из членов догадался наконец доказать нам всем, что, собственно говоря, кружок этот вовсе не существует.

В этом кружке мы состязались друг с другом в измышлении самых невероятных положений, которые по жребию попадались тому или иному члену для доказательства.

Помню тот успех, что достался мне, когда я блестяще исполнил возложенную на меня задачу и доказал *бытие дьявола.*

Это было нелегко. Прежде всего, я твердо знал, что дьявола нет, во-вторых, я даже никогда раньше не задавался мыслью, что именно может он олицетворять, в третьих — я не был вовсе верующим человеком.

Но именно благодаря этим препятствиям я с еще большим рвением принялся за свой реферат — копался в богословских сочинениях, ломал голову над Апокалипсисом и трактатами схоластиков.

Мой парадоксальный ум вывел меня из затруднительного положения и блестяще опроверг общепринятое мнение, что лучше всего даются

писателю те произведения, которые продиктованы ему его глубокой верой в их идею.

Говорю без желания рисоваться, что реферат мой превзошел всякие ожидания и его успех был вполне заслужен.

Но еще многозначительнее были те последствия, которые ему сопутствовали.

Я говорил уже, что такое жонглирование мысли доводило меня иногда до того, что я на время сам колебался в решении вопроса, — что же, наконец, правда, — то ли, что мы привыкли считать естественным, аксиомным, или та «жизнь в обратном представлении», которая создавалась путем мыслительных фокусов.

Но, как скептик, я не отдавался никаким мистическим ощущениям и вся жизнь в моих глазах была довольно неостроумным парадоксом.

Как никак, я доказал существование дьявола — духа отчаяния, духа противоречия, доведенного до безумных размеров.

Дьявол — мятущееся отчаяние, ищущее выхода и готовое на все — и он существует именно потому, что существует примирение, скорбь, как последний этап, как утешение.

Не знаю, отчего *так* определил я его, почему именно *отчаяние* я взял как стихию дьявола, но

это сопоставление крепко засело у меня в голове без всяких определенных мотивов и из него я выводил дальнейшее.

Теперь от меня ускользнуло то хитросплетение парадоксов, которое давало иллюзию существования реального дьявола.

Я видел, что слушатели загипнотизированы моей речью. Внимательно-напряжены были даже те лица, которые вначале казались насмешливо-равнодушными.

В конце я уже сам был взволнован и почти не помнил, как сошел со своей импровизированной кафедры.

Только тогда, когда я очутился на свежем воздухе и кто-то сзади дотронулся до моего рукава, — я пришел в себя и радостно улыбнулся незнакомому лицу, пристально смотревшему на меня.

— Кто вы? — спросил я, останавливаясь.

— Вы меня не знаете, — отвечал незнакомец, — я был одно время в вашем кружке, но вскоре из него вышел…

Он последовал за мной и продолжал:

— Теперь же, после вашего реферата о дьяволе, я хотел бы познакомиться с вами поближе.

Я не совсем понял, что хотел от меня этот человек, но, польщенный его мнением, весело

заметил:

— Да, этот *логический фортель* мне удался…

— А главное, вы сумели очень верно определить *его* свойства, — возбужденно подхватил мой спутник.

Тут я снова остановился и пристально посмотрел на него.

Это был молодой еще человек, небольшого роста, сутуловатый, с приподнятыми плечами и большой головой. Взгляд его серых глубоко сидящих глаз был тяжел и внимателен.

— Вы собственно, что? — растерянно спросил я.

— Да ничего особенного, — хладнокровно отвечал он, — я говорю, что вы верно определили *его*, как духа отчаяния, духа противоречия и тем более это странно, что никогда *его* не видели.

Он положительно издевался надо мной.

— Послушайте, — начал я, спрятав из предосторожности руки в карманы и наступая на незнакомца, — охотно верю, что вам понравился мой реферат; допускаю даже и то, что он отчасти расстроил ваши нервы, — но все это не дает вам права зубоскалить и говорить мне вздор, от которого у здорового человека вянут уши…

Но он совсем не смутился и рассудительно

заметил:

— Однако, об *этом самом вздоре* вы говорили битых два часа…

Я не сразу нашелся, что ответить, так неожиданно показалось мне это заявление, но нельзя было не согласиться с тем, что он прав.

Тем не менее, во мне вновь поднялось возмущение.

— Позвольте, — загорячился я, — там я отвечал на заданную тему, заведомо бессмысленную, и вся цель этого заключалась в остроумной подтасовке доказательств, в своего рода казуистике…

— А *здесь я* говорю вам, что вы были вполне логичны, потому что действительно доказали бытие дьявола, — спокойно возразил он, — вся суть в том, что вы, не веря, пришли к истине, а я верю, потому что знаю истину.

Неприятная нервная дрожь пробежала у меня по спине и я опасливо оглянулся по сторонам. К тому же было поздно, накрапывал мелкий дождь и никто не мог поручиться за то, какие мысли копошились в голове этого сумасшедшего.

Надо было прекратить бессмысленный разговор и, чтобы не раздражить незнакомца, я вежливо приподнял шляпу и сказал:

— Виноват, мне пора домой, но с удовольствием

когда-нибудь я потолкую с вами на эту интересную тему.

Но тут он в свою очередь заволновался.

— Не уходите, — сказал он и опять дотронулся до моей руки своими холодными пальцами. Я почувствовал странную тяжесть от его прикосновения. Не уходите, потому что *в другой раз* вряд ли меня увидите.

Я хотел поблагодарить его за это, но он продолжал:

— Это я должен благодарить вас за то, что вы так хорошо сумели доказать людям бытие дьявола, потому что Он действительно существует и я вам в том порука…

Он смотрел мне прямо в глаза, и я чувствовал, как какое-то непонятное беспокойство вливалось в мою душу с этим взглядом. Точно все переставало существовать для меня, кроме его глаз. Я погружался в какое-то темное дно и только одно ощущение тяготило меня, но я не мог подобрать ему имени.

Незримые, но крепкие нити протянулись между ним и мною и, странно, мне казалось, он незаметно менял свои очертания. Теперь он казался выше, голова надменно и смело сидела на упругой шее, а глаза казались больше, глубже и

темнее и горели ярким, мрачным светом, светом нечеловеческого экстаза. Как будто я переживал с ним далекие минуты моей жизни и постепенно сжимало меня в своих тисках *безграничное отчаяние.*

Дождь усилился, — туман заволакивал нас со всех сторон, и никого не было здесь, кроме меня и этого человека.

Я мог бежать, я мог, наконец, кричать и звать на помощь, но почему же я этого не сделал?

Ноги мои точно впились в землю, руки, окаменевшие, лежали в карманах, глаза не отрывались от глаз незнакомца.

А он говорил:

— Дьявол — мятущееся отчаяние, ищущее выхода и готовое на все... Он существует, ты это знаешь теперь, потому что ты полон отчаяния и не можешь уйти от него, потому что вся жизнь твоя — сплошное противоречие, потому что *Он сам* перед тобою...

Тупая боль сдавила мне череп — уже не было мыслей во мне, было *холодно*...

Этот холод ровной волной шел от головы к ногам и расползался во все стороны, оттесняя от меня весь мир...

Веки мои отяжелели, глаза сомкнулись, и ко-

гда, охваченный новой волной беспокойства, я снова широко раскрыл их — никого вокруг меня не было.

Я был один…

Но, лишенное образа, все сильнее овладевало мною всепоглощающее отчаяние.

1908 г., май.

ДЬЯВОЛ {13}
(Из дедовских мемуаров)

Борису Садовскому

О ту пору я только вернулся с похода 53-го года, раненый в плечо. Ушел я на войну, как ведомо уже вам, юнкером Ахтырского полка, а возвратился с Георгием и в чине корнета. Наш полк находился в авангарде Маловалахского отряда, которым командовал сначала князь Васильчиков, после — Анреп, а я был ранен в сражении при Четати, где так пострадал и вместе отличился Тобольский полк. Было это под самые святки, и приехал я в Петербург в разгар праздников. Я думал, что меня вскорости отпустят обратно в полк, но не тут-то было. Проклятый турок, видно, глубоко рубанул своим ятаганом и мне так и не пришлось больше нюхать пороха. Я скучал, злился и слонялся без дела. Праздные разговоры досаждали мне. Одни с пеной у рта предсказывали поражение, другие трубили о небывалых победах. После боевой жизни, столица и жители

{13} Комментарии: 2.13

Сочинения. Поздний и более проработанный вариант рассказа «Дух противоречия».

ее казались мне несносными.

Я стал навещать семью Трубачеевых, которую до войны считал за свою. Старики Трубачеевы были старинными приятелями моей матушки. Люди общительные и любящие общество, они принимали у себя и сами бывали в свете.

Деловое утро в Петербурге начиналось в то время очень рано. Все обедали в четыре часа дня, танцевать съезжались с детьми часов в шесть, затем детей отправляли домой, а взрослые продолжали вечер.

В праздники у Трубачеевых собиралась молодежь. У них были три дочери. Старшей, Леленьке, шел четырнадцатый год, когда я стал бывать там. Пожалуй, вы посмеетесь надо мною, если скажу вам, что она была и первой и последней моею любовью, как теперь понимаю я это чувство.

Мать Трубачеева устраивала у себя спектакли, в которых участвовали и взрослые, и дети. Я предавался этим забавам со всем увлечением. Так как пьесы играли французские, то артисты Михайловского театра, актеры, как тогда они назывались, Bresson и Vérné приезжали на репетиции и руководили нами.

Там же у Трубачеевых встречал я новый 53-ий год, столь чреватый последствиями. Леленька пе-

ла «La fille du regiment»[4], и тогда-то понял я, как она прелестна. А после мы разыграли шараду: «У семи нянек дитя без глаза». Мне повязали глаза и семь девиц вывели меня на лентах семи цветов. Я убедился тотчас же, что при желании одним глазом можно видеть так же хорошо, как и двумя, и наблюдение это сообщил на ушко Леленьке. Девочка раскраснелась и убежала, а я поклялся себе, что судьба моя отныне навеки с нею связана. Как подчас бываем мы самонадеянны… И знал ли я, что вскоре любовь и розы мне придется сменить на меч?..

Вернувшись с войны, я застал Леленьку фрейлиной и уже барышней. Она не подымала на меня глаз, как раньше, а я не смел напомнить ей о встрече нового года. Матушка ее рассказала мне, когда дочь ее удалилась, что произошло с Лелечкой за этот год. Старушка и радовалась и печалилась за нее. В первый день Рождества Государь Николай Павлович снял с елки висевший на ней, в числе сюрпризов, фрейлинский бриллиантовый шифр и приколол его Лелечке. Лелечка, прикрыв шифр рукой, тотчас набросила

---

[4] Примечания: 1.4
«Дочь полка» (фр.).

на плечи sortie de bal[5] и попросила отца свезти ее скорее домой. Государь, удивляясь ее поспешности, спросил:

— В чем дело?

— Государь, — отвечала Лелечка, — я не хочу, чтобы кто-нибудь видел вашу милость ко мне раньше моей матушки, которая по болезни осталась дома.

Растроганная рассказом, Трубачеева утирала глаза платочком, а после сказала с тягостным вздохом:

— Подумать только, что такая прелесть и так несчастна… Я не знаю, что делать, и доктора говорят, что у нее слабая грудь и что это грозит…

Трубачеева не договорила и глухо зарыдала. Я, как мог, утешал ее, но тягостное предчувствие уже не покидало меня.

Так печально встретил меня Петербург. Ничто не могло способствовать хорошему расположению духа. Раненая рука частенько давала себя чувствовать, беспокойство за любимую томило сердце.

Тогда и познакомился я с Марьей Гавриловной Лыкошиной. О ней я слышал от моего приятеля

---

[5] Примечания: 1.5
Манто, накидка (фр.).

Веточкина в первый же день своего приезда. Веточкин был сам не свой: всегда розовое, улыбающееся лицо его теперь носило печать значительности и тайны. В разговор он вплетал непонятные слова. С уст его, пухлых и румяных, не сходили имена Калиостро и Юма. Он сказал мне, что «у них в кружке» заняты теперь вопросом о веровании ранних христиан в демонов, как о том повествует Тертулиан. Я смотрел на друга своего с удивлением, как на помешанного. Но он оставался неуязвимым и продолжал толковать о разной чертовщине. От него же я узнал, что Лыкошина замечательная женщина. Молодежь будто бы сходит по ней с ума, пожилые почтенные люди говорят о ней шепотом, дамы ненавидят ее от всей души, и только глупцы не чуют в ней ума первоклассного. Веточкин находил, что мне необходимо с нею познакомиться.

И вскоре знакомство наше состоялось в Большом театре.

Шла скучнейшая опера. Я зевал, как Онегин, оглядываясь по сторонам. Ко мне подошел в антракте Веточкин и, указывая на литерную ложу с правой стороны, сказал значительным шепотом:

— Вот Марья Гавриловна Лыкошина, о которой я тебе рассказывал. Идем, я познакомлю тебя

с нею.

В ложе теснились офицеры (все больше штабные и адъютанты) и штатские. Большинство из них оказались моими приятелями.

Меня тотчас же подвели к Лыкошиной. Она оглядела меня с головы до ног и улыбнулась весьма приветливо. Но должен признаться, улыбка вовсе не шла ее сухому, бледному, правильному, но неприятному лицу. Найдя, что на первый раз будет с меня и одной этой улыбки, Марья Гавриловна заговорила с другими. Все почтительно и, как показалось мне, с напряжением ее слушали, хотя в словах ее не находил я ничего примечательного. Я уже думал потихоньку удалиться, как Лыкошина нежданно вновь оборотилась ко мне и, глядя на меня стальными своими, будто ничего не видящими глазами (потом вспомнил я, что такие же точно глаза были и у государя Николая Павловича), задала мне крайне смутивший меня вопрос:

— Верующий ли вы человек?

Первые мгновения я не знал, что ответить, но, вскоре оправившись, сказал убежденно:

— Тот, сударыня, кто был на поле сражения и видел перед своими глазами смерть, не может быть неверующим.

Не отводя от меня своих холодных глаз, Марья Гавриловна молвила:

— Мне очень приятно слышать это, господин офицер. В наши дни так мало истинно верующих, но ежели вы веруете в Бога, то не признаете ли вы существование и антипода Его — Князя Тьмы, властителя Ночи?..

Все смотрели на меня, ожидая моего ответа, но на этот раз я смутился окончательно, и только поднявшийся занавес спас меня от конфуза. Воспользовавшись случаем, я поспешил скрыться.

Все же признаюсь, Лыкошина не выходила у меня из головы во все время представления.

Если она и не поразила меня ни красотою своей, ни умом, то все же последний вопрос ее не давал мне покою. Веря в Бога, я тем самым будто бы признавал существование дьявола. Так оно и было, пожалуй, но я не мог без улыбки подумать, что можно о черте говорить серьезно и не иначе, как в детской, рассказывая сказки.

«Какого черта, есть черт!» — думал я, выходя на Невский. Но в это время кто-то окликнул меня. Я оглянулся. Ко мне шел князь Прозоровский. Он догнал меня, и мы пошли рядом. С ним встречался я часто у Трубачеевых еще два года тому назад. Он и тогда мне нравился мечтательным и

серьезным своим нравом. Товарищи называли его поэтом. Он и точно писал стихи, но никогда никому не докучал ими. Теперь он возмужал и красивое лицо его стало значительнее.

В полумраке зимней ночи черный профиль его похож был на профиль великого Наполеона, героя моих детских мечтаний.

Довольно долго мы шли молча. Но вскоре к нам подъехали сани, и князь приказал кучеру остановиться. Оказалось, что сани эти принадлежали моему другу, и кучер запоздал к разъезду. Не пожурив его, князь попросил меня сесть с ним и проехаться немного, обещав довезти меня до дома. Кони с места понесли рысью. Комья снега полетели в лицо, ветер хлестнул по ушам. Я поднял воротник шинели и зажмурил глаза.

— Не правда ли, странная и удивительная женщина Марья Гавриловна? — крикнул мне князь.

Второй человек говорил мне так о ней. Я насторожился — Прозоровский не Веточкин. Князь не стал бы говорить попусту. К тому же, я и сам не уставал о ней думать.

— Не знаю еще, что сказать, как судить, — отвечал я нерешительно, — мне уже кое-что говорили о ней, но все что-то путаное. Не досадно ли, что будучи и точно умною, она увлекается столь ди-

кими и нелепыми бреднями, как чародейство и чертовщина? Ужели для ума пытливого и острого не найдется в такую годину другого занятия?

Князь ответил мне тотчас же:

— Замечательно любезны вы, душа моя! Ведь вам известно, должно быть, что и я состою членом ее общества… К тому же, не думаете ли вы, что как раз теперь следует пытать Неведомого о судьбе нашей родины?

От неожиданности я даже отворотил воротник шинели и склонился к лицу попутчика.

— Неужели же, князь, вы станете уверять меня, что вы занимаетесь всем этим не от скуки и не в шутку?

Тогда, найдя мою руку и сжав ее своею рукой, Прозоровский заговорил со всей дружеской откровенностью:

— Вы меня не первый день знаете, Тулубьев. Я никогда не склонен был к шуткам. Так запомните, что и теперь я далек от шуток. В наших занятиях кроется гораздо больше истины, чем вы это подозреваете. И не по-пустому Лыкошина спросила, вас, веруете ли вы в бытие дьявола. Слышите ли вы меня?.. Я сам, собственными глазами видел Его!..

Я отшатнулся от князя, не веря собственным

ушам.

— Ведь это же чистейший бред, князь!

Но Прозоровский перебил меня:

— Говорю вам, что я его видел — Его, бога зла и князя тьмы, — и даже более того, — я берусь показать Его вам!

— Показать дьявола мне?

Я рассмеялся от всею сердца.

— Знаете, князь, вы не в своем уме!

Князь положил другую свою руку на мою руку.

— Вам известен мой адрес, — проговорил он быстрым и страстным шепотом, — когда вы почувствуете желание, а я говорю вам, что вы непременно почувствуете желание проникнуть в эту великую тайну, напишите мне и я даю вам слово, что вы уверуете в Дьявола так же, как и я. Но это случится при одном условии…

Он не докончил своих слов и, отрывисто крикнув кучеру ехать в ту улицу, где я жил, отпустил мои руки и плотнее запахнулся в шубу. Я окликнул его, но он не подал виду, что слышит. Озадаченный и, признаться, растревоженный не на шутку, я предался смутным своим мыслям.

Через три дня был я с Веточкиным у Лыкошиной, где опята слыхал речи весьма туманные и соблазнительные. Прозоровский, видимо, избе-

гал меня, и мне так и не удалось возобновить с ним наш ночной разговор.

Марья Гавриловна была на этот раз со мною приветливее, а на прощание надавала уйму книг, которые я, придя домой, так и бросил, не читая.

К скуке моей присоединилась непонятная тревога. В бесцельном шатании по городу захаживал я частенько к Трубачеевым и без боли не мог глядеть на все заметнее бледнеющую Лелечку.

Робость ее передо мной снова прошла, и мы стали с нею большими друзьями. Однажды я рассказал ей о знакомстве с Лыкошиной, о ее обществе и о тайных наших беседах. Обо всем этом говорил я шутливо. Смеясь, передал и разговор свой с юродивым, к которому свез меня на этих днях Веточкин. Надо сознаться, что ехал я к прорицателю не совсем ради шутки. Меня обольщала мысль найти в словах его уверенность в том, в чем я сам себе не мог вполне признаться. Но Лелечка поняла мои усмешки по-своему, шибко забеспокоилась, стала крестить меня, окропила святой водою, потом закашлялась и горько расплакалась. Мне и самому стало тошно, но я не подал виду и, почувствовав внезапно необыкновенную решимость, стал говорить, что надо эту Лыкошину и всех ее глупцов провести, чтобы они

век помнили. Лелечка не хотела меня слушать. Я же чем дальше, тем больше распалялся.

— Возьму прочту все их книги и докажу им, что дьявол и точно существует. А потом посмеюсь над ними.

Тут Лелечка спрыгнула с дивана и кинулась ко мне на руки.

— Милый, родной, побойся Бога, — в ужасе закричала она, — разве можно шутить с этим?.. Не смей, не смей… Оставь ты их, пока Бог тебя не оставил…

И внезапно, точно подкошенная, соскользнула она с моих рук к ногам моим и зашептала поспешно и задыхаясь:

— Милости прошу… не ходи ты к ним больше… Слышишь!.. Дай мне слово, что никогда не помянешь ты его имени… и забудешь этих людей… Вот… пусть… тебе нужно знать это — так знай же… мне недолго осталось жить, но если ты сделаешь то, что хочешь, меня и раньше не станет… А я люблю тебя… пусть — и не стыдно мне — люблю…

Я почувствовал, что сердце мое перестает биться и силы меня оставляют. Тщетно пытаясь поднять с колен Лелечку, я сам опустился на колени и, плохо видя лицо девушки сквозь сле-

зы, застилающие глаза, стал целовать ей руки и бормотать бессвязные утешения.

Тут же, не подымаясь с колен, поклялся я Лелечке своей любовью не ходить больше к Лыкошиной и забросить подальше ее книги, а Веточкина отчитать за завиральные его мысли.

Я стал самым счастливым человеком на свете, когда, выслушав мою декларацию, родители нас благословили.

Но не напрасно говорят, что черт завидует человеческому счастью. Ну кто, как не он толкал меня… «пойди и посмейся». Люди подчинены злому этому духу, духу противоречия. В молодости моей был я ему подвержен в достаточной степени. Желание посмеяться и над князем, и над Веточкиным, и над самой Лыкошиной не давало мне покою. Точно неведомая сила чем дальше, тем настойчивее толкала меня. Наконец, я не стерпел и сказал Веточкину, что приду на собрание общества, так как у меня есть что-то важное сообщить его друзьям. Веточкин завизжал и запрыгал от радости, а я принялся за книги, перо и бумагу. Я решил доказать существование дьявола. Это было нелегко. Я даже никогда раньше не задавался мыслью, что именно может олицетворять дьявол. Мне и в голову не приходили мысли

такого рода. Но упорство мое оказалось сильнее моего невежества. Университетские занятия помогли мне. Я копался в богословских сочинениях, ломал голову над Апокалипсисом и трактатами схоластиков. Сальный огарок и любопытные тараканы были безмолвными свидетелями моих трудов и терпения.

Наконец, я мог поставить последнюю точку. Меня встретили у Лыкошиной с почтительным удивлением. Марья Гавриловна впервые протянула мне для поцелуя руку. В темном углу заметил я бледное лицо князя Прозоровского. Он глядел на меня пристально, глаза его горели, губы были плотно сжаты, на белый широкий лоб его свисала непокорная прядь волос. Я издали кивнул ему головою, развернул исписанные свои листки и, придвинувшись поближе к лампе, попросил позволение начать.

Лыкошина кивнула мне головой. Нервная дрожь пробежала у меня по спине, но я тотчас же оправился, глотнул воды и стал говорить.

Сначала речь моя была тиха и неясна, потом голос мой окреп, я увлекся и почувствовал, что мысли всех присутствующих подчинились моей мысли.

Я говорил, что дьявол — мятущееся отчаяние,

ищущее выхода и готовое на все, и что дьявол существует уже потому, что существует примирение, скорбь, как последняя грань, как утешение. Не знаю, отчего так определил я дьявола, почему отчаяние взял я, как стихию его, но это сопоставление крепко засело у меня в голове, точно кто-то посторонний подсказал мне мои основные положения и уже из них я выводил дальнейшее. В зале царило полное молчание. Внимательны были даже и те, кто в начале моей речи казались равнодушными или же насмешливыми. Сознаться, я уже и сам не знал точно, где настоящая правда. Мне начинало казаться, что я говорю искренне, потому что речь моя давно уже вышла из границ, намеченных мною раньше.

Наконец, выбившись из сил, я замолк. Подняв голову, я постарался различить лица слушателей, но туман застилал мне глаза, к тому же лампа освещала только стол с разбросанными листами. Я вгляделся внимательнее в тот угол, где стоял князь Прозоровский, но вместо него увидел только его тень. На стене неподвижно чернел огромный профиль Наполеона.

Поспешно собрав листки, я среди все еще не прерывающегося молчания прошел в сени, накинул шинель и выбежал на улицу. Рожде-

ственский мороз зажал мне нос и стиснул виски. Волнение оставило меня, но сердце защемило. Я вспомнил о Лелечке. Сегодня в полночь я должен был быть на елке у Трубачеевых. Нужно было спешить. Нигде поблизости не позвякивал саночный колокольчик, город точно вымер — собаки не лаяли, будочники не били в колотушку и только мороз скрипел под ногами. Тучи скрывали месяц. Но вскоре я послышал за собою поспешные шаги. Я улыбнулся, думая почему-то увидеть князя как тогда, когда я возвращался из театра. Месяц выглянул из-за тучи, и я различил пред собою лицо незнакомца, пристально смотревшего на меня.

Я невольно остановился и спросил озадаченно:

— Кто вы?

— Вы не знаете меня, — отвечал незнакомец.

Тогда я повернулся идти дальше, но человек последовал за мною и продолжал говорить:

— Теперь, после вашего доклада собранию, я хотел бы познакомиться с вами поближе.

Я не совсем понял, чего хотел от меня этот прохожий, но, обрадованный тем, что и он, как видно, поверил мне, ответил:

— Да, признаться, это была довольно злая шутка!

Незнакомец перебил меня взволнованно:

— Достойно удивления то, с каким проникновением <вы> определили свойства дьявола.

Тут я остановился в недоумении и внимательнее посмотрел на говорившего. Это был молодой еще человек, небольшого роста, сутуловатый, с приподнятыми плечами и большой головой. Взгляд его серых, глубоко запавших глаз был тяжел и внимателен.

— Вы что, собственно? — спросил я растерянно.

— Ничего особенного, — отвечал он хладнокровно, — я говорю, что вы вполне точно определили его сущность, — как духа отчаяния, духа противоречия и тем более это странно, что никогда его не видели и не думали о нем.

Я решил, что было бы не худо, ежели бы незнакомец помолчал. Мне не нравились его речи. Смеяться должен был я, а не он.

— Послушайте, сударь! Охотно верю, что вам понравился мой доклад, допускаю даже, что он взволновал вас, но все же это не дает вам права зубоскалить и говорить мне вздор, от которого вянут уши.

Незнакомец, однако же, не смутился и рассудительно молвил:

— Об этом вздоре вы говорили битых два ча-

са…

Я не сразу нашелся, что ответить. Нельзя было не сознаться, что он прав. Но я разгневался еще больше.

— Позвольте, сударь! — кричал я. — Там я говорил вздор, потому что хотел посмеяться над вами…

— А здесь я говорю вам, что вы были правы, потому что и точно доказали бытие дьявола, — возразил мне незнакомец совершенно спокойно. — Вся суть в том, что вы, не веря, пришли к истине, а я верю, потому что знаю истину.

Ледяная дрожь охватила меня. Я оглянулся опасливо по сторонам и рукою невольно ухватился за эфес сабли. Мне опять пришла на память Лелечка и сердце мое снова забилось тревожно. Наконец, никто не мог поручиться за то, какие мысли бродили в голове этого сумасшедшего. Нужно было покончить вздорный разговор. Я учтиво взял под козырек и сказал:

— Виноват, сударь, — мне пора домой, но с охотою когда-нибудь потолкую еще с вами.

Тут в свою очередь незнакомец пришел в волнение.

— Не уходите, — молвил он чуть слышно, наклоняясь ко мне и дотронувшись до моей боль-

ной руки своею рукою без рукавицы. Страшную тяжесть почувствовал я от его прикосновения.

— Не уходите, — повторил он, — потому что в другой раз вряд ли меня увидите.

Я хотел благодарить его за это, но он продолжал, точно угадывая мои мысли:

— Это я должен благодарить вас за то, что вы так ясно сумели доказать людям бытие дьявола, потому что он и точно существует и я вам в том порука…

Он смотрел мне прямо в глаза; я хотел пробормотать «это вы, князь», смутно вспоминая, что уже слыхал подобные слова, но тягостное беспокойство вливалось в ото душу с пронзительным взглядом незнакомца и я обессиливал и не мог открыть рта. Все перестало существовать для меня, кроме этих глаз.

Я точно погружался в темное дно. Незримые, но крепкие нити протянулись между незнакомцем и мною. Мне казалось, он незаметно менял свои очертания. Теперь он чудился выше, голова надменно и смело сидела на упругой шее, а глаза казались огромными, зияющими и нестерпимо горящими тягостным нечеловеческим светом. Как будто я переживал с незнакомцем далекие минуты моей жизни и постепенно сжимало меня

в своих тисках безграничное отчаяние. Ноги мои точно впились в землю, руки, окаменевшие, повисли вдоль бедер, а глаза не отрывались от глаз незнакомца.

Он говорил:

— Дьявол — мятущееся отчаяние, ищущее выхода и готовое на все… Он существует, ты это знаешь теперь потому, что ты полон отчаяния и не можешь уйти от него, потому что вся жизнь твоя — сплошное противоречие, потому что Он сам перед тобою…

Я хотел отшатнуться и не мог. Тупая боль сдавила мне череп. Мне было нестерпимо холодно. Холод этот ровной волной шел от головы к ногам и расползался по всему телу, отстраняя от меня весь мир…

Веки мои отяжелели, глаза сомкнулись и когда, охваченный внезапной мыслью «я замерзаю» и новой волной отчаяния, я наконец открыл глаза, никого вокруг меня не было.

Но отчаяние и ужас уже более не оставляли меня. Я сделал последнее усилие и кинулся сквозь морозную мглу к дому Трубачеевых.

Сонный привратник отворил мне двери. Я оттолкнул его и побежал по лестнице, не снимая шинели я шапки. В зале горела пышная елка,

на хорах играли музыканты. Я протянул вперед руки, видя перед собою только трепетный огонь свечей. Лелечка в белом платье кинулась мне навстречу. Приняв ее в свои объятия, я, не стыдясь гостей, поцеловал ее в губы. Она вздохнула и повисла у меня на руках. Мы опустились с нею на колени… Я ничего не помнил, ничего не сознавал.

Кто-то бросился к нам.

Я услышал только одно слово — «мертвая»…

1909 г.

ТО, ЧЕГО МЫ НЕ УЗНАЕМ{14}

Сергею Ауслендеру

Смотри... очарованья нет!
Звезда надежды угасает!
Увы! Кто скажет: жизнь иль цвет
Быстрее в мире исчезает?
В. Жуковский

I

Мы кутили уже пятые сутки и поэтому можете себе представить, в каком мы находились положении. Но, ради Бога, не подумайте, что наша компания состояла из людей давно опустившихся, отбросов общества, париев. Ничуть. Мы все носили старые дворянские фамилии и были приняты в лучшие дома, служили украшением изысканнейших гостиных. Среди нас было два князя и один барон. У барона было миллионное состояние, у другого — родовитого дворянина Восьмиградского — целое степное государство.

{14} Комментарии: 2.14
Сочинения.

Все остальные получали кругленький годовой доход с капитала. Я и князь Станишевский служили в одном из гусарских полков в Царстве Польском и только на днях приехали в Петербург убивать отпускное время; Восьмиградский оставил свои степи, чтобы встряхнуться; барон Бреде, типичный тевтонец — прямой, высокий, с спокойными светлыми глазами; князь Бородкин-маленький, на кривых ногах гвардеец; Сумов и Визэн жили в столице постоянно. Все мы были молоды, недавно окончили свое образование, связаны друг с другом общностью взглядов, одинаковым воспитанием, наконец, товарищеской дружбой и памятью детских лет.

Началось с того, что мы как-то почти не сговорившись сошлись у Сумова. Сумова, кажется, любили все одинаково искренне; он считался душою нашего общества и хотя был беднее остальных, но умел всех собрать, оживить, придумать какое-нибудь особенное развлечение и все это у него выходило мило, просто, незлобиво. Он смеялся удивительно — такого смеха я больше ни у кого не слыхивал, и при этом скалил свои крупные белые зубы. Квартирка у Сумова была маленькая (он, как и все мы, был холост), но такая же растрепанная и милая, как ее хозяин. Много

цветов, много света, мягкие, но почему-то с откинутыми углами ковры, низкие диваны и всюду обрезки цветной бумаги и картона, раскрытые ножницы, баночки с клеем и слипшиеся кисти. Этот милый, большой человек страстно любил клеить крошечные бонбоньерки; чего он только ни делал при помощи своих ножниц, клея и цветной бумаги! Любо-дорого было смотреть, как быстро и ловко его большие руки справлялись со всем этим. Под Рождество он одаривал своими фантастическими коробочками, цветами, зверями и птицами всю полковую детвору. Но он же умел пить как никто, всегда оставаясь на ногах и не теряя своего веселого настроения. В день своего производства в офицеры он при мне выпил пять бутылок шампанского без передышки, вылив их предварительно в пуншевую чашу. После этого он сделал то, что вряд ли удалось бы сделать совершенно трезвому человеку.

Мы сидели в зале большого ресторана, в одном из углублений его, декорированном тропическими растениями, почти на виду многочисленной публики. Нас было четверо. Откинувшись на спинку стула, в небрежной позе и расстегнув венгерку, Сумов допивал свое шампанское, когда к нему подошел какой-то господин в черном

сюртуке и, низко кланяясь, сказал что-то такое, что мы не слышали.

— А, это вы? — радостно закричал Сумов и засмеялся своим заразительным, наивным смехом. — Очень, очень рад! Вы как раз кстати. Доставайте свои бумажки, а я достану свои…

Господин в черном изящно подал пачку белых листков и остановился в ожидании. Сумов взял их небрежно двумя пальцами левой руки, склоненной над столом, а правой медленно начал водить по мундиру, как видно, желая нащупать боковой карман. Около стояла зажженная свеча с курительным прибором. И вот, мы видим, что левая рука Сумова, точно случайно от его нетерпеливых движений, приближается к пламени свечи, и белые листы, зажатые двумя пальцами, начинают коробиться, чернеть и вдруг вспыхивают ярким огнем и рассыпаются золотыми искрами.

Мы были навеселе и рассуждать не могли, но видели все прекрасно: видели искаженное ужасом лицо господина в черном, видели, как правая рука Сумова, ничего не достав из бокового кармана венгерки, собирала со скатерти горящие клочки бумаги и кидала их в тарелку, где они превратились в пепел; видели любопытные лица

публики и растерянные физиономии лакеев; видели все это, сознавали смутно, что произошло что-то скверное, но ничего не предпринимали для образумления товарища. Напротив, почувствовав явно растущую враждебность к нам, потребовали удаления уже визгливо кричащего господина в черном, спокойно кончили ужин и только тогда покинули ресторан. Все это время Сумов быть удивительно весел, смеялся и рассказывал анекдоты — помнится, и нам не было грустно.

Потом, отрезвев, мы поняли все, что произошло. Сумова судил суд офицеров. Господин в черном, оказавшийся ростовщиком-евреем, передавшим Сумову несколько десятков тысяч под собачьи проценты, рвал на себе волосы от бессильной злобы. Он нарочно пришел в ресторан, чтобы успеть вовремя захватить деньги. Но суд замял дело… Сумова перевели в провинцию с обещанием принять его обратно через некоторое время, а мы — все уже знавшие — провожали его и, помнится, целуясь при прощании, плакали: такой все-таки он был милый и по отношению к товарищам безукоризненный человек.

II

Итак, мы собрались все у Сумова в Царском Селе и оттуда уже нас начало кидать во все стороны: из ресторана в театр, из театра в кафе-шантан и т. д. На пятую ночь мы с дамами из «Аквариума» очутились совершенно неожиданно у Исаакия на ранней обедне и бережно ели теплые просфоры. Дамы плакали от умиления, а мы сосредоточенно крестились.

— Гасса, — взволнованным шепотом говорил Визэн и прижимал руку к наваченной груди пальто. — Гасса, ради Бога, нам нужно поставить свечи… всегда ставят свечи, уверяю вас!

Ему никто не отвечал и он, помолчав некоторое время, начинал снова:

— Гасса, уверяю вас…

Князь Станишевский — католик — был особенно строг и неподвижен. Он точно не хотел своим присутствием оскорбить чувства верующих. Барон Бреде, Восьмиградский и Сумов, стоя перед серебряным иконостасом, спорили о его цене; князь Бородкин не отставал от своей румынки; мне, помнится, ужасно хотелось пить и меня очень беспокоил оставшийся кусок просфоры. Я старался изо всех сил вспомнить, можно ли

оставить просфору недоеденной, и чувствовал, что если я проглочу этот лишний кусок, мне станет дурно.

Огромный храм был пуст, почти темен. Наша беспокойная кампания с дамами в нарядных шляпках, как видно, тревожила двух-трех молящихся старушек и казалась нелепой и ненужной у подножий величественных малахитовых колонн. Наконец, мы вышли на свежий морозный воздух. Сквозь мутную кисею тумана пробивался рассвет. Колонны Исаакия, затянутые инеем, казались восковыми, прозрачными. Сразу стало холодно, и неудержимо захотелось спать.

Мы сели в свои автомобили и поехали. Наши дамы уже спали с побледневшими под гримом лицами, с полуоткрытыми ртами.

— Mon Dieu, que c'est bête![6] — уныло повторял теперь совсем раскисший князь Станишевский и качал головой, глядя на запотевшие стекла каретки. — Mon Dieu, que c'est bête!

Его, как видно, охватило пьяное раскаяние. Да, кажется, мы все упали духом и склонны были преувеличивать нелепость нашего положения. Пять дней беспросыпного кутежа, как хотите,

---

[6] Примечания: 1.6
Бог мой, как это глупо! (фр.).

что-нибудь да значат.

Прошумели вдоль безлюдного Невского, свернули на Литейный и вдруг вздрогнули ют долетевшего до нас крика.

Автомобиль остановился. Путаясь саблей между ног, подпрыгивая и скользя, к нам бежали Сумов, за ним Бородкин. Их автомобиль шел сзади нашего и они-то и кричали нам, чтобы мы остановились.

— В чем дело, что такое? — всполошились проснувшиеся дамы.

— Гасса, — начал было Визэн, но его перебили.

— Вылезайте, — кричал Бородкин, — мы придумали удивительную вещь!..

Сумов опять хохотал.

— Этот князь, бестия отчаянная, представь себе…

Сумов опять хохотал.

— Да что, что такое?

Бородкин объяснил:

— Мы решили заказать гроб…

— Гроб?

Моя француженка в ужасе схватила меня за рукав пальто.

— Que c’est bête… Mon Dieu, que c’est bête, — уныло тянул Данишевский.

— Да ну же, вылезайте, — торопил Сумов, — экие тюлени! Ясно, как bonjour, а они не понимают.

— Тут как раз бюро похоронных процессий, — пояснил Бородкин с совершенно серьезным лицом, — это будет презабавно! Мы закажем гроб, колесницу, дадим адрес… Воображаю испуг тех, кому это все доставят.

Он потирал от удовольствия руки.

К нам подходили остальные. Барон Бреде хитро подмигивал; Сумов хохотал во все горло.

— Только, господа, как можно серьезнее, — просил Восьмиградский, которому эта мысль, видно, тоже понравилась. Он распахнул свою медвежью шубу и весело попыхивал сигарой.

Лица у всех оживились — было за что ухватиться притупившимся и упавшим нервам. Решили дам оставить в автомобилях, приставив к ним для охраны совсем уже осовевшего Станишевского.

Более всех взволнованным и охваченным всей этой выдумкой оказался Визэн.

Он кидался то к одному из нас, то к другому, дергал за ворот пальто и порывисто шептал:

— Гасса, нужна замечательная осторожность, уверяю вас! Пусть Восьмиградский заказывает, а вы все молчите. И потом — адрес, выдумайте

сейчас адрес…

Но именно адреса мы и не могли придумать. Все приходили на ум адреса знакомых. Так и не сговорившись, мы позвонили у подъезда «бюро».

III

Нам отворил худой, заспанный человек, неопрятно одетый и с шаркающей походкой. Он провел нас в комнату с конторкой и шкафами у стен, в которых стояли всевозможных размеров гробы и развешаны были парча и галуны.

— Что прикажете-с? — спросил он, становясь у конторки и недоверчиво глядя на нашу шумную и слишком многочисленную компанию.

Сумов вытолкнул вперед Восьмиградского, который старался придать своему широкому, несколько припухшему лицу сторогое и скорбное выражение.

— Нам нужен гроб, — сказал он как можно внушительнее.

— Вы хотите сказать, что вам нужны похоронные аксессуары, — поправил его приказчик, особенно напирая на последнее слово.

— Ну да, конечно, — согласился Восьмиградский.

— Так вот прейскурант, не угодно ли полюбо-

пытствовать… Мы берем на себя все хлопоты по погребению… Белый катафалк со страусовыми перьями и 12-ю факельщиками, черный катафалк…

Восьмиградский слушал внимательно, но по углам рта можно было догадаться, что он готов прыснуть со смеху.

— Да-да, — кивал он, — так вот по первому разряду…

— Слушаю-с, — подхватил оживившийся приказчик. — Кто будет покойник? Какого размера гроб?

Восьмиградский на минуту запнулся.

— Девица, девица, — вмешался, улыбаясь во весь рот, Сумов, — прелестная девица…

Приказчик удивленно взглянул на его улыбку.

— Хорошо-с, прикажете адрес записать?

— Адрес?

Мы значительно переглянулись, так как эта, казалось бы, простая подробность нашей шутки представлялась нам наиболее трудной. На этот раз опять выручил Сумов.

— Адрес, — сказал он, подходя к приказчику и глядя ему прямо в заспанное лицо, — Бассейная 17, квартира 3… Запишите, пожалуйста — Бассейная 17, 3…

Как видно, этот адрес пришел ему в голову совершенно случайно и он сам был рад запомнить его.

— Слушаю-с, — закивал головой приказчик.

Мы хотели уже уходить, когда он снова спросил нас, к какому времени мы желаем, чтобы все было готово, и попросил задаток.

Князь Бородкин почему-то назначил 11 часов утра следующего дня, Восьмиградский вынул пачку ассигнаций и мы очутились снова у своих автомобилей со спящими дамами и промерзшими шоферами. Теперь все было скрыто белым туманом. Фонари потухли, кое-где попадались прохожие. Наступал новый день, — час нашего отдыха. В квартире румынки, к которой мы все поехали вслед за Бородкиным, нам подали черный кофе, но я уже не помню — пил ли я его или нет. Все сливалось у меня перед глазами в серую сплошную муть, и я повалился на первый попавшийся диван, убитый внезапным черным сном похмелья. Проснулся я окончательно только на следующее утро, и первым моим желанием было напиться и вымыться холодной водою. Я поднялся и увидел, что нахожусь в небольшом будуаре. На ковре, у моих ног спал, закинув назад голову и как-то странно подогнув ноги, Сумов. Я

растолкал его.

— Это ты? — воскликнул он, сразу вскакивая на ноги. — А я во сне чертовщину всякую видел…

Он был очень бледен и плохо держался на ногах.

— Тебе дурно, — сказал я, — пойдем мыться и выпьем чаю…

— Да, да — чаю, — с радостью согласился Сумов, — непременно, очень горячего.

Когда мы вошли в столовую, все уже были в сборе.

Оказывается, кроме барона Бреде, уехавшего куда-то еще вчера днем, все проспали вместе с нами целые сутки.

Князь Бородкин в каком-то неимоверной длины сером с зелеными отворотами халате сидел рядом с румынкой — хозяйкой дома. Они разыгрывали роль jeunes maries[7] и все время целовались, называя друг друга разными глупыми прозвищами.

IV

Только в половине двенадцатого мы вспомнили о нашей выходке с заказом гроба и заторопились

---

[7] Примечания: 1.7
Новобрачные (фр.).

поехать посмотреть, что из этого вышло. Особенно на этом настаивал Сумов, а отговаривал князь Бородкин. Он находил, что было бы глупо и неосторожно выдавать себя; что нас могли увидеть и устроить скандал. Но мы его не послушались и, оставив его наслаждаться tête-à-tête с румынкою, поехали на Бассейную.

Еще не доезжая до подъезда дома под номером 17, я заметил, что там происходит что-то не совсем обычное. По лицу Сумова, который ехал со мною на одном извозчике, я понял, что и он это заметил и поражен.

У подъезда дома под номером 17, оказавшегося большим красивым пятиэтажным зданием, толпилась кучка каких-то людей и посыпала часть тротуара и улицы перед парадной дверью чем-то темным, что оказалось при ближайшем рассмотрении зеленым ельником. Остановив извозчика и подождав товарищей, мы сообщили им свои наблюдения. На разведки был послан Станишевский, лицо которого не могло быть известно, так как он не был среди нас при заказывании гроба.

Через несколько минут он вернулся к нам со странным, не то недоумевающим, не то испуганным выражением.

— Ну, что такое? — обратились мы к нему.

— Но, Боже мой, але, я сам не знаю, что это, — поежась, ответил он, — ma foi[8], тут что-то странное Там действительно покойница.

— Покойница? — в один голос переспросили мы.

— Mais je vous assure, mais je vous dis que oui![9] Я сам не верил своим ушам… Говорят — умерла барышня в третьем номере…

Станишевский опять поежился, удивленно взглядывая на нас. Я чувствовал, как мурашки побежали у меня по спине. Наша пьяная шутка принимала какой-то странный и таинственный смысл. Невольно я оглянулся на Сумова, давшего адрес гробовщику. Наверно, в то же мгновение у всех у нас зародилось одинаковое подозрение, потому что Восьмиградский задал Сумову тот же вопрос, который вертелся и у меня на языке.

— Послушай, Николай, что все это значит? Ты знал что-нибудь об этом?

Но Сумов ничего не знал, это можно было прочесть по его растерянному лицу и блуждающему взгляду.

— Идем туда, — вместо ответа хрипло сказал он

---

[8] Примечания: 1.8
Клянусь честью (фр.).

[9] Примечания: 1.9
Но я уверяю вас, говорю вам, что это так! (фр.).

и первым зашагал к подъезду. Мы последовали за ним.

Вся лестница, вплоть до второго этажа, где находилась квартира, была усыпана ельником. Ноги скользили, попадая на его жесткие иглы. Его острый запах смешивался с запахом ладана. Дверь в квартиру номера 3 была раскрыта настежь. В передней никого не было, в зале стоял большой стол, усыпанный цветами, а среди них мы увидали покойницу.

Мы не слышали, как подошел к нам какой-то господин с большой черной бородой на бледном лице и спросил шепотом:

— К покойнице?

Все наше внимание было обращено на этот стол и неподвижную фигуру на нем.

Но, приближаясь к столу, я невольно оглянулся на Сумова, который шел бок о бок со мной и нечаянно задел меня плечом. Я не узнал его лица. Оно было бледно, бледнее покойницы и совершенно неподвижно. По тому, как напряженно билась жилка на его виске, можно было догадаться, что он о чем-то напряженно думал. Губы сжались в плотную прямую линию и тоже были белы, как бумага. Он вытянул шею, сжал руки и неподвижно, жадно смотрел на умершую.

Она была очень красива, несмотря на то, что смерть положила на нее синие тени и нос заострился. У нее были тонкие, благородные черты лица и золотые, почти рыжие волосы. Она казалась маленькой, худенькой на этом столе, среди цветов; пальцы рук поражали своей длиной и прозрачностью кожи; между тонкими, темными, дугой изгибающимися бровями проведена была чуть заметная упрямая морщина. Профиль ее походил на египетскую камею.

Ни одной женщины, кроме читающей молитвы старой монашенки, не было подле покойной, даже господин с черной бородой, как видно, хозяин квартиры, исчез в соседнюю комнату.

Восьмиградский, Станишевский и Визэн тихо перешептывались позади меня.

— Все это ужасно, ужасно странно, — шептал Восьмиградский, — но ясно, что Сумов тут ни при чем… А она очень хорошенькая, наша покойница.

— Я думаю, что нам пора уходить, — перебил его смущенный Станишевский.

— Да, гасса, это неудобно, уверяю вас, — подхватил Визэн.

Я тронул за руку Сумова.

— Послушай, Николай, идем…

Он даже не обернулся на мои слова. Лицо его было все так же неподвижно устремлено на стол.

Его неподвижность пугала меня; я не мог объяснить ее себе, но она казалась мне подозрительной. Хотя я и был убежден, что, назвав адрес этого дома, Сумов никогда раньше не слыхал его, но поведение его все-таки не могло не вызвать во мне тьму предположений, одно другого неопределеннее. Само по себе странное совпадение это не могло так сильно повлиять на всегда беспечного и чуждого всякого мистицизма Сумова. Тут было что-то другое. Но что же?

Она была ему знакома раньше? Он видал ее когда-нибудь? Но тогда, что мешало ему поделиться с нами своим открытием? Нет, нет, тут что-то было, но что — я положительно не знал.

— Сумов, идем домой, — окликнули его другие, — вот чурбан!

Сумов не двигался. Потом неожиданно быстро подошел к умершей, наклонился к ней, точно желая поцеловать ее лоб, но сейчас же выпрямился и, уже не оглядываясь, кинулся к двери. Мы едва поспевали за. ним. На улице он окликнул извозчика и, кивнув нам, уехал.

V

В следующие дни я все порывался навестить Сумова, но, занятый визитами, представлениями и тому подобными хлопотами, я положительно не имел на это времени. Срок моего отпуска истекал; надо было возвращаться в полк, и я так и не побывал у старого друга.

Сначала вопрос о странном, исключительном совпадении, так таинственно заключившем нашу ночную проделку, о странном и тоже исключительном поведении Сумова занимал меня сильно, но вскоре ровная полковая жизнь, старые, на время прервавшиеся интересы маленького уездного городка, новые веселые «кипроко» совершенно отодвинули от меня эти мысли и заменили другими, более ясными и приятными.

Хотя вся наша петербургская компания и была очень дружна и каждый раз радостно и тепло сходилась, чтобы покутить и тряхнуть стариной, но мы никогда не переписывались друг с другом и это ничуть не казалось нам странным.

Жизнь наша была известна каждому из нас, так как, занимая определенное положение, мы тем самым давали точное представление о своих занятиях.

Мы, офицеры, учили солдат, ездили верхом, ходили в собрание, пили, ухаживали за дамами, танцевали и так изо дня в день; Восьмиградский сидел у себя в имении и возился с крестьянами и землей; барон Бреде ходил в банк и тоже пил, ухаживал и танцевал. Все в нашей жизни было просто, очень ясно и раз навсегда установлено, — это и исключало нужду в переписке.

Поэтому я был очень удивлен и заинтересован, получив месяца через три после моего отъезда из Петербурга письмо от Визэна.

Вот что он писал мне:

«Я удручен постигшим нас всех горем: нашего милого, несравненного Николая нет больше в живых. Он застрелился. Нелепая, ничем не объяснимая смерть его сбила всех с толку. Никто ничего не знает, а я меньше всех, хотя любил его и ежедневно видался с ним. Последнее время он был очень скрытен и совсем не смеялся. Вот и все; долгов за ним не осталось, ни в кого он, по-видимому, не влюбился и огорчений по службе не имел. Тяжело и обидно ужасно. При встрече поговорим. Я получил ротмистра. Все кланяются. Твой Визэн».

Я перечитывал письмо это несколько раз и не верил своим глазам. Да, да, не могло быть ника-

ких сомнений. Черным по белому было написано, что Сумов умер, что Су-мов застрелился. Тут было над чем поломать голову! Если он — этот весельчак, позитивист Сумов решил покончить с так, казалось бы, хорошо складывающейся жизнью, значит, было же что-нибудь такое, что могло его заставить решиться на это. И непременно что-нибудь серьезное, что-нибудь из ряда вон выходящее. Я перебрал в памяти все, что знал про Сумова, видел его большую крепкую фигуру, его широкое, красивое лицо, слышал его заразительный смех и все более недоумевал. Положительно ничего нельзя было придумать!

В Сумове было много неровностей характера; много, на первый взгляд, смешения благородного с неблагородным; много своих особых взглядов на людей и на жизнь, но одно, что было для всех ясно и не могло вызвать спора — это то, что он безусловно был удивительно выдержанным, трезвым и твердым человеком. И эта особенность его характера не могла вязаться с малодушным насилием над самим собою.

— Тут что-нибудь не так, — повторял я себе, в волнении расхаживая по комнате, — нет, нет, тут есть что-то такое, чего мы не знаем.

И опять я перебирал в памяти все, что знал о

Сумове.

Самый странный, на мой взгляд, совершенно не вяжущийся с его общим обликом поступок был тот, о котором я уже говорил вам вначале. Спокойно, на глазах своих товарищей и многочисленной публики сжечь векселя не из простого желания пошутить, а с определенною целью обмануть заимодавца, это, как хотите, поступок не только дерзкий, но и низкий. Явный обман, тайное воровство? Так это должно казаться всякому постороннему человеку. Но тогда, я помню, мы все почти об этом не думали. Нас поражала смелость, с какою все это было сделано, то явное бравирование, на которое ни у одного из нас не достало бы духу. Все мы делали долги с обязательством отдать их с громадными процентами и почти никогда не отдавали их целиком, а то и вовсе не отдавали. Такие долги, не карточные, не товарищеские — шли у нас не в счет и нисколько не касались нашей чести. Тут очень сложная психология, но я думаю, тот, кто был истинно молод и, еще более, служил в каком-нибудь полку, поймет такое странное, казалось бы, деление долгов просто и долгов чести. Вот почему сущность, цель самого поступка Сумова не была противна нам. Его судил суд офицеров только потому, что способ

избавиться от неприятного долга слишком уж бил в нос, слишком был явен и мог бросить тень на репутацию полка. Вот этот-то способ развязаться с долгом и служил предметом всеобщего удивления, о нем-то я думал сейчас, желая связать его с общей психологией Сумова, какою я ее себе представлял.

«Но хорошо, — продолжал я соображать, невольно заинтересовавшись ходом своей мысли, — этот его поступок хотя и кажется из ряда вон выходящим, но все-таки он более объясним, чем тот, который заставил его свести свои земные счеты. Человек, сумевший с таким хладнокровием, почти цинизмом выпутаться из трудного, безвыходного положения, в которое его мог поставить кредитор, предъявив векселя на несколько десятков тысяч, может ли такой человек почувствовать себя бессильным бороться с чем-нибудь еще более запутанным? Я думаю, что нет. А, однако, это случилось… это случилось, и Сумова уже нет более в живых…»

И тут невольно мне представилось бледное, неподвижное лицо Сумова, каким оно было в последние минуты нашей с ним последней встречи. Нет ли тут какой-нибудь причинной связи? Но в таком случае и сам черт ничего не разберет!

На этой фразе, произнесенной мною от досады вслух, прервал течение моих мыслей вошедший ко мне князь Станишевский.

VI

— Mon Dieu, que c'est bête! — начал Станишевский любимою своею фразою. Но по тону, с каким он это сказал, я догадался, что он уже все знает и хочет говорить именно о смерти Сумова.

— Да, это ужасно, — подхватил я.

— И ужасно, и глупо, и все, что хочешь! — согласился князь, усаживаясь в кресло и закуривая папиросу. — Главное, глупо… Я вообще никогда не понимал, как можно se desesperer a ce point![10] Всегда найдется разумный выход. Жизнь дает нам так много утешений… Кстати, ты слыхал — Моржилов женится! Тот самый Моржилов, у которого год назад умерла невеста и мы думали, что он сойдет с ума от горя… Живой пример — к моим словам…

Станишевский раскачивал красивой длинной ногой, затянутой в рейтузы, изящно сбрасывал пепел с папиросы и, наклоняя породистую белокурую голову чуть-чуть на левый бок, жмурился

---

[10] Примечания: 1.10
До такой степени отчаиваться (фр.).

на свет лампы.

Я привык к его пустой болтовне, в которой было больше смеси языков, чем здравого смысла, но сегодня она раздражала меня. Я не понимал, как можно так легкомысленно относиться к таким часто необъяснимым поступкам, как самоубийство. Мне обидно было за умершего Сумова.

— Послушай, князь, — наконец, не выдержав, перебил я его плавную русско-польско-французскую речь, — ты, как видно, в одном из своих легкомысленных настроений и потому не можешь говорить серьезно. Брось, не тревожь бедного Сумова. Есть сюжеты более веселые.

Станишевский поднял голову и, увидав, что я не шучу, постарался придать своему лицу сосредоточенное выражение.

— Але, я вовсе не смеюсь, — протянул он, — все это ужасно грустно! Но согласись сам, когда человек стреляется без всяких видимых поводов, это кажется немного ridicule…

— Ничуть, — вспыхнул я, — вернее, тот, который не хочет или не умеет глубже взглянуть на вещи, понять, что есть поступки, хотя на первый взгляд и необъяснимые, но ничуть от этого не становящиеся глупыми, вернее, тот кажет-

ся ridicule![11] Впрочем, мы говорим на разных языках и ты извини меня за мою излишнюю горячность.

Князь дружески улыбнулся и встал с кресла.

— О, что ты, помилуй! — протянул он. — Але я совсем не здесь. Только ты взволнован сегодня и поэтому tu a perdu[12] свое чувство юмора. Не буду мешать тебе… До свиданья…

В передней, надевая шинель, он вдруг вспомнил..

— Ах, да! Тут у меня есть письмо Сумова к какой-то Анне Ивановне или Карповне. Его переслал мне вместе с известием о смерти Сумова князь Бородкин. Он пишет, что не отправил его почтой, так как думает, что можно у этой дамы разузнать о причинах самоубийства.

Он вынул из шинели толстый пакет с адресом, писанным рукою Николая: Завалки, Склянная улица, дом Дохоцького, Анне Андреевне Бой.

— Ну и что же? — спросил я, заинтересованный. Мне показалось, что, может быть, здесь скрывается нить для разгадки всего случившегося. — Почему ты не передал это письмо по

---

[11] Примечания: 1.11
Нелепым (фр.).

[12] Примечания: 1.12
Ты утратил (фр.).

назначению?

— Да мне все некогда было, а мой дурак не мог найти ее дома…

Я почувствовал, что начинаю опять волноваться от охвативших меня мыслей.

— Послушай, князь, отдай мне это письмо, — сказал я и сам улыбнулся своему молящему тону, — я снесу его сам. Это избавит тебя от хлопот, а мне доставит большое удовольствие. Ты понимаешь, любя Сумова…

— Ах, сделай одолжение, — перебил меня Станишевский. — Бери его, пожалуйста, и поступай с ним, как знаешь.

Никогда он не казался мне таким милым, как теперь. Все раздражение мое прошло и, запрятывая к себе письмо Сумова, я крепко пожал его руку.

— Au revoir, — крикнул мне уже с улицы князь, — забегай ко мне завтра и расскажи все, что узнал.

— Хорошо, хорошо, — ответил я и поспешил к себе в комнату.

Было еще только без четверти восемь. Нетерпение мое поскорее проникнуть в мучившую меня тайну было так велико, что одна мысль отложить свой визит к Б. до завтра представлялась

мне совершенно невозможной. Разглядывая со всех сторон белый конверт, я невольно тянулся разорвать его и прочесть хранящееся в нем таинственное письмо. Но стыд быть нескромным и уважение к умершему товарищу удержали меня. Я начал быстро одеваться, все время стараясь себе представить, кем может быть эта Анна Андреевна, единственная, к которой обратился Сумов перед смертью. Меня не удивляло, что письмо его адресовано в наш город, так как <я> знал, что полк, в который его на время перевели, стоял до нас здесь же. Но меня интересовала адресатка. Мы — офицеры — давно уже знали всех более или менее приличных горожан и горожанок и нередко не только имена их, но и всю их жизнь; фамилия же Анны Андреевны была мне совершенно незнакома. Сумов жил здесь, его все помнили и любили; называли женщин, за которыми он ухаживал, но среди них никто не упоминал Анны Андреевны. Какая она из себя? Молодая или старая? Хорошенькая или дурнушка? Почему она прячется от всех и нигде ее не видно, если она молода, и почему никто ее не знает, если она стара и почтенна? А может быть, тут какая-нибудь романтическая история? Любовь к мещаночке, тайный брак?

С такими мыслями я вышел из дому и дошел до Склянной улицы.

Но когда перешел улицу и нашел указанный дом, во мне упала всякая решимость. Я взглянул на окна, освещенные внутри розовым светом, потом посмотрел на часы. Было уже двадцать минут десятого.

«Нет… глупо являться так поздно. Вздор! Не загорелось. Приду завтра», — решил я и повернул обратно.

Когда на другой день я в четыре часа подъехал к крыльцу дома Дохоцького, позвонил, и на звонок мой вышла опрятная, в белом переднике и кружевной наколке горничная, когда я увидел широкую и тоже опрятную переднюю, то сразу же понял, что мои предположения о мещаночке и тайном браке нелепы. Все, — начиная с горничной и передней и кончая гостиной, в которую меня сейчас же провели, все говорило о домовитости, аккуратности, а главное, о том, почти неуловимом на взгляд, но ясно чувствуемом «comme il faut»[13], который так приятен и встречается теперь лишь изредка в старых дворянских семьях. Ничего такого, что бы било

---

[13] Примечания: 1.13
Приличие, «комильфо» (фр.).

в нос, шокировало. Чистые, выкрашенные масляной краской стены, покойная мягкая красного дерева мебель, милые, но немногочисленные, в овальных рамах дедовские портреты, круглая вертящаяся этажерка с книгами, брошенная на столе в уютном уголке неоконченная broderie anglaise[14] и особенный приятный запах домовитости и английских духов, все это и успокоило меня и поразило. Не было даже тропических растений, этих жалких худосочных пальм и фикусов, которыми украшаются обязательно все провинциальные гостиные.

Я не успел еще вполне осмотреться, как услышал за своей спиной торопливые, легкие шаги и, обернувшись, увидал идущую ко мне женщину.

— Очень мило, что вы зашли ко мне, — сказала она звучным ровным голосом, — я никого здесь не вижу и рада с вами познакомиться.

Она уже знала, кто я такой, так как, войдя, я передал горничной свою карточку с припиской: «товарищ Сумова — с поручением».

— Садитесь вот сюда и поговорим.

Она зашла за круглый стол и села на диван, — я поместился напротив в кресле.

---

[14] Примечания: 1.14
Английское шитье (фр.).

Собираясь с мыслями, я окинул взглядом всю фигуру моей собеседницы. Мне редко случалось видеть женщин с такими спокойными, красивыми чертами лица, какие были у Анны Андреевны. Полная брюнетка, она держалась удивительно просто и с достоинством; карие глаза мягко смотрели на меня из-под длинных ресниц и густых, чуть сросшихся бровей; несомненно длинные, черные, без блеска волосы скромными гладкими прядями ниспадали на уши и оканчивались на затылке большим тяжелым узлом. На щеках горел ровный румянец; губы были несколько полны и выдавались вперед, но это придавало всему лицу милое, ребяческое выражение и скрадывало строгость прямого сухого носа и белого лба. На вид ей можно было дать лет 27–28. Особенно мне понравились ее детские губы и то особое движение головой, которое она делала, когда слушала — так склоняют и вздрагивают головкой растревоженные и прислушивающиеся зяблики.

Я поспешил заговорить, чтобы не показаться нескромным.

— Видите ли, я осмелился побеспокоить вас, — начал я, чувствуя, что краснею под ее спокойным правдивым взглядом, — так как должен исполнить последнюю волю моего друга — Николая

Петровича Сумова.

— Простите, я не понимаю, — перебила меня Анна Андреевна, порывисто ухватясь руками за стол и внезапно бледнея, — как… как последнюю?

Я сразу же догадался, что она ничего еще не знала о смерти Сумова, и тут же попенял на себя за свою неосторожность. Но, раз начав, надо было идти до конца.

— Да, Анна Андреевна, Сумов умер, — ответил я, склонив голову, чтобы не смущать ее, — и вот письмо, которое, как видно, адресовано вам.

Я передал ей пакет и, поднявшись, отошел в сторону.

Она лихорадочно вскрыла конверт. Из него выпала пачка сложенных вдвое листков почтовой бумаги. Пока она читала, я остановился у окна и глядел на улицу, потом начал разглядывать портреты, но ни до улицы, ни до портретов мне теперь не было никакого дела.

В середине чтения Анна Андреевна подняла на меня глаза, в которых, как мне показалось, дрожали слезы.

— Вы уж простите меня, — прошептала она, — я сейчас кончу…

И снова склонилась над разбросанными лист-

ками. Я понимал, что неудобно расспрашивать Анну Андреевну о содержании письма, но вместе с тем только ради этого и пришел я к ей; только разузнав все, что можно, о кончине Сумова (я уже не сомневался, что в письме объяснены причины) я мог спокойно оставить этот дом. Догадываясь о тех чувствах, которые питала молодая женщина к моему другу, я понимал, как надо было быть осторожным, подходя к ней с такими вопросами, и потому боялся, что не справлюсь со своей задачей.

Наконец, она кончила чтение и вновь подняла на меня свои глаза. Минуту мы оба молчали. Она заговорила первая.

— Ну вот, теперь я уже все знаю…

И остановилась, не отводя от меня глаз, точно спрашивая, может ли она быть со мной откровенной.

Я подошел к ней и сел на прежнее место, радуясь такому началу.

— Я только теперь узнала все, но уже давно предчувствовала, что так будет, — снова начала она. Глаза ее ушли куда-то в сторону, куда-то далеко. Она опять сильно побледнела.

— Анна Андреевна, — сказал я, — не примите это за навязчивость и еще более за праздное

любопытство, но ради Бога, объясните мне, если можете, что все это значит? Сумова я люблю, знаю его с детских лет, он был моим лучшим другом, и вот он покончил с жизнью, а я мучаюсь, тщетно пытаясь объяснить себе этот его поступок. Он для меня совершенно непонятен, почти чудовищен: мне не верится, чтобы он, мой весельчак Сумов, мог это сделать. Умоляю вас, не стесняйтесь меня, будьте откровенны…

Я умолк, напряженно и с беспокойством глядя на молодую женщину.

Она нервно перебирала листки письма, стараясь овладеть собою. Но в ее лице я уже не замечал недоверия. Без слов я почувствовал, что я ей симпатичен и что она будет говорить со мною, как с другом. Во всей фигуре, в скорбном выражении лица было столько подкупающей искренности, красоты и благородства, что невольно я почувствовал себя с ней, как с близким, родным человеком.

— Что же я вам скажу? — заговорила она. — Николая Петровича я любила… да, любила и мы с ним были большими друзьями. Я познакомилась с ним, когда еще был жив муж мой… у себя в имении… я только недавно переехала сюда. Потом он ушел… ему было тяжело, он думал, что

я обвинила его… Глупый, я слишком любила его и не могла обвинять…

Анна Андреевна говорила тихо, но спокойно. Особенно спокойно, глубоко искренне и без тени жеманства или стыда, говорила она о своей любви к Сумову. Не было ни пафоса, ни обиды в ее голосе, хотя и чувствовалось, что любовь эта была неразделенной.

«Так может говорить о любви своей только мать или необычайно чистая женщина, — невольно подумал я, глядя на нее. — Какая она бедная, какая она милая…»

— Я только боялась, — продолжала молодая женщина, — я всегда боялась ее… она была и прекрасной и страшной… Если бы вы только могли ее видеть… И вот его нет. Нет, скажите мне, как же это так? Когда это случилось? Да говорите же!

Ее голос зазвенел и вдруг оборвался. Она не выдержала и зарыдала. Казалось, что она только теперь поняла, что Сумов умер.

Я пытался успокоить ее. Но она сама вдруг затихла, вытерла глаза и поднялась с места.

— Извините меня, я должна проститься с вами, меня ждут. Вот письмо его. Если хотите, можете прочесть. Оно вам все скажет. Только не забудьте мне его вернуть обратно. Прощайте.

Она протянула мне руку и даже улыбнулась обычной светской, вполне естественной улыбкой.

Я взял письмо и поспешил уйти. По тону ее голоса я догадался, что после неожиданно вырвавшегося вопля отчаяния она считала неудобным больше встречаться со мной. Я дал ей понять, что догадался об этом, сказав, что завтра же пришлю со своим денщиком дорогую ей рукопись.

VII

Всю дорогу до дома меня не покидал образ Анны Андреевны. Странно, сознавая все ее совершенство, я невольно ставил себя на место Сумова и чувствовал, что… что я поступил бы так, как Сумов. Это почти необъяснимо, но это так. У молодости есть свои законы любви, не подчиняющиеся рассудку. Молодость ищет опасности, ей редко нужна материнская ласка. Она еще тяготится самоотверженностью, она сама хочет жертвовать. Мы бежим от тишины, мы бежим от святости, потому что, испытав все это в детстве, мы боимся скуки…

Придя домой, я велел подать себе чаю, сел в кресло и сейчас принялся за чтение. Оно так увлекло меня, что я просидел далеко за полночь.

Это был настоящий рассказ, это была исповедь измучившегося, растерявшегося человека. Вот она, я вам прочту ее.

«Все, что я напишу здесь, все это для вас, Анна Андреевна. Я должен высказаться перед вами, я должен объяснить то, что, может быть, необъяснимо для вас, но что вы сумели простить (я видел это по вашим глазам тогда — в последнюю нашу встречу). Я чувствую, что мне нужно писать вам, иначе мне не разобраться в себе самом, иначе я перестану понимать себя.

Оглядываясь на людей, с которыми мне приходилось сталкиваться во всю мою жизнь, я не нашел никого, кроме вас, могущего выслушать меня и осудить справедливо.

Вот почему, приехав сюда и вновь пережив в памяти все, что случилось так недавно, я решил сесть и написать вам обо всем. Если вы простили, не зная всего и не зная меня — осудите вновь; если же эти строки вам не скажут ничего нового — я буду рад, что ваше прощение я заслужил.

Вы, конечно, знаете, за что я был переведен из гвардии в ваш захолустный городок, в армейский гусарский полк. Эта история слишком часто и слишком настойчиво повторялась в Завалках, чтобы ее кто-нибудь забыл. Она стала чем-то

легендарным, приняла окраску какого-то доброго молодечества на взгляд одних и дьявольской извращенности в глазах других. Признаюсь, под влиянием всех этих догадок и суждений, я сам невольно перестал сознавать истинную подкладку своего поступка и, верьте, не верьте, чувствовал благодаря этому какое-то свое превосходство над другими людьми и уже начал думать, что все так и должно быть, что все — хорошо.

Но, кроме всего этого, во мне жило и живет до сих пор странное, почти врожденное чувство, заставляющее меня делить людей на два лагеря — своих и чужих. Это кадетское деление, признававшееся в корпусе, а потом и в училище вполне разумным и должным правилом поведения, как нельзя более подошло к моим личным вкусам, и вот почему я всегда был среди товарищей любимцем и коноводом. Еще живя дома в поместье своего отца, я как-то инстинктивно понял и одобрил такое отношение к людям, дающее мне возможность быть любимым и уважаемым.

Но посудите сами, могли ли эти люди — уже все, без всякого деления на своих и чужих, — внушать к себе любовь и искреннее уважение? Конечно, нет. Свои пользовались мною для своих целей; чужие, естественно, избегали меня. Вот почему с

каждым годом, с каждым днем мне все труднее было уважать своих, все дальше уходили от меня чужие и, наконец, я начал терять уважение и любовь к самому себе. Место было завоевано — я был дворянином, я был офицером, меня боялись и любили, и я мог делать все, что захочу.

Вот в каком душевном состоянии застали меня все недавние события.

***

Я приехал в Завалки вечером с тоскливым чувством одиночества и с горьким вкусом во рту от выпитого шампанского, водок и вин. Мне, собственно, не было жаль прежних товарищей, а тем более кого-нибудь одного из них, но мысль о том, что меня ждут новые люди, которых мне придется принять за своих, угнетала меня. После истории с моим евреем, я как-то перестал ощущать потребность в близких людях. Но эти новые товарищи оказались ничуть не хуже старых. Их вкусы, их привычки, их взгляды на жизнь почти ничем не разнились от взглядов, вкусов и привычек людей, ранее меня окружавших, и поэтому мы как-то сразу спелись и все признали меня добрым малым и благородным товарищем. История с векселями придавала мне в их глазах

еще более значительности. Я сразу почувствовал себя независимым и любимым.

Жизнь в полку и так однообразна, в захолустье же она действует угнетающим образом. Одуревшие от скуки, безделья и самолюбования люди хватаются за все, что мало-мальски может вывести их из такого состояния. Отсюда понятны все те подчас скандальные истории, которые мы выкидывали. Карты и вино уже не развлекали нас, они стали чем-то обыденным; ухаживание за дамами превратилось в спорт, всегда оканчивающийся успехом; пренебрежение к чужим перешло в издевательство над человеком.

Но из этого не следует, что мы все были уже окончательно потерянные люди, что в нас не осталось ничего светлого. Нет — вы знаете, что это не так! Вы знаете, что мы умеем быть благородными, смелыми, почти героями, когда это требует от нас наша noblesse[15]. Но это бывает так редко, людей, которых мы уважаем, так мало, что подчас можно было и забыть все то хорошее, что считалось украшением нашего мундира.

Когда мы зашили в мешок одного старого еврея и подвесили его на крюк (вы, конечно, помните

---

[15] Примечания: 1.15
Достоинство (фр.).

эту историю) так, что он чуть не задохнулся, неужели вы думаете, что в нас говорила тупая злоба, человеконенавистничество? Да мы просто не видали в нем человека! Это было какое-то странное, жалкое животное со смешным лицом и забавным говором, но мы ничуть его не ненавидели. И если бы сейчас же, как его освободили, он стал просить нас спасти его семью от разбойников или пожара — мы, не задумываясь, пошли бы и исполнили его просьбу, потому что этот поступок предписывался нашей моралью, нашей noblesse. Нам — можно, другим — нельзя: таково правило победителей.

На первом балу у губернатора я встретил вас и Лину Федоровну. Вы помните, конечно, что вы сидели вместе в голубой гостиной, когда я подошел к вам. Меня представил Гагарин.

Еще не доходя до вас, он сказал:

— Вот интересная женщина… но! — (он приложил палец ко рту) — ни-ни-ни… святая женщина, примерная жена, une femme pure[16]…

Я недоверчиво улыбнулся и тут же подумал, что надо заняться…

Анна Андреевна, решив писать вам, я поставил

---

[16] Примечания: 1.16
Чистая женщина (фр.).

себе целью ничего не скрывать от вас, особливо своих мыслей. Если бы я что-нибудь утаил, мое письмо-исповедь было бы ненужной забавой, каким-то кокетством. Поэтому не смущайтесь и не пеняйте на меня, если встретите что-нибудь такое, о чем не говорят вслух.

— Ну, а та — другая? — спросил я.

— О, это девчонка, которой я не советую попасться в руки. Она сирота, живет с больным братом у себя в имении, занимается какой-то чертовщиной и зла, как ведьма, хотя богатая невеста… Но вот, позвольте представить.

Вы мне понравились сразу. Ваше лицо, ваша фигура, — особенно ваши губы. Говоря вам какие-то пустяки и слушая вас, я глядел на эти губы и думал, что им в тысячу раз было бы приятнее целоваться, чем говорить.

Но зато Лина Федоровна мне не только не понравилась, но сразу же стала антипатична. При первом взгляде она даже не показалась мне интересной. Тонка, вертлява, длинноноса, зла, вот что подумал я о ней и сейчас же перевел глаза на вас.

— Это мой маленький дорогой друг, — сказали вы, указывая на Лину Федоровну, — она удивительный человек и сколько талантов…

Тогда я вам не поверил.

Танцевал больше я с вами, с ней сделал один тур вальса и должен был отдать ей справедливость, — она танцевала изумительно. Но для меня это было не важно. Я почти не говорил с ней и искал вас глазами.

— Моя подруга вам, наверное, очень нравится, — чуть улыбаясь острыми углами тонкого рта, сказала мне Лина Федоровна.

— Почему вы думаете? — удивился я.

— Я это вижу, — серьезно ответила она, — но только она слишком добрая…

— Ну и что же? Тем лучше!

Меня начинал изводить ее тон.

— Тем хуже, — спокойно продолжала девушка, — она скоро надоедает, это скучно…

Я ничего не ответил, обозленный ее словами и мысленно посылая ее к черту. «Не думаешь ли ты, что с тобой очень весело?» — спрашивал я ее злыми глазами. Она только тихо улыбалась. Окончив кружиться, я посадил ее на место, думая скорее отделаться от нее, но она сама встала навстречу какому-то господину и кивнула мне:

— Вы свободны…

Во все продолжение вечера я не отходил от вас и не видал уже Лины Федоровны. Мое присут-

ствие, я это почувствовал сразу, было приятно вам, — вы были оживлены и Гагарин, проходивший несколько раз мимо нас, значительно мне подмигивал. Не буду скрывать, что мысль о вас, как о человеке, как о женщине с золотым сердцем, какою я вас узнал впоследствии, ни разу не приходила мне на ум, так как все мое внимание было обращено на вашу наружность. Глядя на вашу полную грудь, плечи и руки, я уже целовал их глазами, и вы, наверное, не были бы так покойны и так веселы, если бы знали, о чем мечтал я в то время, когда губы мои произносили всякий светский вздор. В этот вечер я твердо решил добиться вашей взаимности. Пуститься на все хитрости, уловки, ложь, лишь бы овладеть вами. Я уже внутренне дрожал, как дрожит легавый пес, делая стойку. Я чувствовал, что во мне просыпается охотник, для которого сам процесс охоты важнее намеченной дичи.

Как вы знаете, наш губернатор умел устраивать балы. Это единственное, кажется, что он умел делать, этот миленький, коротенький старикашка, первый дирижер, завидный жених, неисправимый мышиный жеребчик. Как-то всегда так выходило, что мужья не мешали женам, а жены мужьям. За ужином рассаживались дамы по соб-

ственному усмотрению, выбирая себе кавалера. Подавали хорошее шампанское и никто не говорил тостов. Было весело. В маленьких гостиных устраивались даже petites jeux[17].

Говоря с вами, танцуя, играя в почту, я неустанно изучал вас, ваши вкусы и бил наверняка. И при всем том, я был вполне искренен.

Уже в вестибюле к вам подошел ваш муж, с которым я тут же познакомился.

И мы расстались.

— Вы, конечно, будете у нас, — сказали вы, улыбаясь из-под белого капора.

Когда вместо ответа я посмотрел на вас, вы отвернулись.

«Клюет», — решил я и вместе с тем почувствовал к вам какую-то нежность.

Вы уехали, а я стоял на крыльце, махая вам перчаткой.

— Moderez vos transports, monsieur[18], — услышал я совсем близко от себя знакомый голос и смех.

Я оглянулся. За мной стояла Лина Федоровна в черном кружеве на рыжих волосах, в темном

---

[17] Примечания: 1.17
Салонные игры (фр.).

[18] Примечания: 1.18
Умерьте ваш пыл, месье (фр.).

меховом пальто. Ее серые глаза прямо в упор смотрели на меня, усмехаясь.

— Право, глядя на вас, я начинаю верить в счастье, — продолжала она по-русски. — Моя Annette прелестная женщина, но неужели вам еще не надоело?

Я кусал усы и чувствовал себя глупым перед этой девчонкой.

— Но это ничего… вы мне все сейчас расскажете. Я еду к себе — вот мой возок: надеюсь, что вы не откажете меня проводить.

Мне оставалось только согласиться, чтобы не показаться невежей.

В маленьком возке было почти темно и душно. Нас раскачивало, как на волнах.

— Вы далеко живете? — спросил я первое, что мне пришло на ум.

— Нет, не очень, всего лишь четыре версты от города.

Она опять засмеялась.

— Ха-ха — какой он смешной. Чего вы дуетесь? Неужели я такая страшная?

— Ничуть, — возразил я, стараясь быть спокойнее и приглядываясь в темноте к моей спутнице. — Смотрю на вас и думаю, что впервые вижу такую девушку…

— Разве? — засмеялась она. — Тем лучше, я очень рада! Небось, глядя на Annette, вы этого не думали?

Я все более удивлялся.

— Скажите, пожалуйста, отчего вы так зло говорите об Анне Андреевне? Почему вы ее не любите?

— Я? Напротив — я ее очень люблю, но я удивляюсь, как вы можете любить ее!

Меня взорвало.

— Pardon, — где основания к тому, что вы только что сказали?

— Мне не нужны основания, — почти строго ответила она, — я это знаю. Но довольно, — помолчав, продолжала эта странная девушка, — un peu de pitié pour moi[19]! — перестаньте сердиться. Я совсем не хотела обидеть вас.

Голос ее стал мягким, почти нежным.

— Право, расскажите мне что-нибудь о себе… Вы умеете жить, и это мне нравится. Я сама такая…

Она окинула с головы кружева и распахнула пальто. Ее руки лежали неподвижно, вытянутые на коленях.

---

[19] Примечания: 1.19
Сжальтесь надо мной! (фр.).

В стекла возка порывами бился ветер и шуршала мерзлая крупа снега.

Мы уже ехали в поле. Иногда накаты были так круты, что нас кидало сверху вниз, как жалкую лодчонку в бурю. Лошади то везли быстро, то совсем останавливались. Скоро должно было светать, но пока еще вокруг шевелилась глухая темень зимней ночи.

— Вы не спите?

— Нет, — ответил я, хотя уже чувствовал тяжесть в голове и томление в ногах, — нет, что вы?

— Это ничего! Я не обижусь… мне нравится дремать под этот шорох снега. Брр… как там должно быть холодно.

Она. придвинулась ко мне, вздрагивая.

Бывают такие положения, когда не знаешь, что делать, как вести себя, чтобы не казаться смешным. То же почувствовал я теперь, когда она нагнулась ко мне, точно ища у меня защиты. Я почувствовал, что продолжать сидеть истуканом глупо, что надо что-то сделать.

Я выпрямился и, схватив ее маленькую голову в свои руки, поцеловал куда-то между глаз. Она не вырывалась. Она уцепилась за мой воротник и ответила мне долгим, всасывающим поцелуем.

Я обязан сказать все — вы должны позволить мне это.

Ее поцелуй совсем мне не был неприятен. Я забыл о вас, когда целовал ее, и не раскаивался в этом.

Ее маленькие пальцы все сильнее сдавливали мое горло, а губы не отрывались от моих.

— Ну, что ты, что ты? пусти же, — задыхаясь и не своим голосом прошептал я.

— Страшно? — спросила она, не отрывая рта.

— Да нет же… но пусти!..

Я толкнул ее, потому что чувствовал, что захлебываюсь.

— Что за шутки, я мог задохнуться.

Она опять откинулась в противоположный угол и ответила оттуда совершенно спокойно:

— Да я не шутила, уверяю вас. Но молчите…

Я вспылил:

— Почему? Что с тобой? Зачем этот тон?

Она ответила все так же спокойно и холодно:

— Молчите же!

«Ну, это глупо, в конце концов, — подумал я, запахиваясь в свою шинель. — Черт меня дернул связаться с ней. Психопатка и ничего больше». Но мне было обидно и я изводился от бессильной злобы.

Я решил сейчас же, довезя ее до дома, вернуться обратно. «Буду молчать, холодно распрощаюсь и больше нога моя не будет у тебя», — соображал я.

Так в молчании мы доехали до ее дома. Возок остановился, замелькал сквозь запотевшие стекла желтый огонь фонарей; заскрипел снег у дверцы, — кто-то отворил ее, морозный пар обволок лицо и раздался простуженный голос:

— Пожалуйте…

Путаясь в полах шинели, я вышел на двор и остановился в ожидании Лины Федоровны.

— Честь имею кланяться, — прикладывая руку к козырьку, произнес я. — Вы разрешите мне воспользоваться вашими лошадьми?..

— Что вы? Что вы? Никогда — вас не пущу, — запротестовала она, ухватив меня за пустой рукав шинели. — C'est Dieu sait quoi[20]! Лошади устали, им нужно отдохнуть…

— Тогда я пойду пешком…

Она взглянула на меня и совсем по-детски прыснула со смеху.

Я сам понял, что сказал глупость.

— Он ребенок… право, ребенок… нет, нет… Бросьте эти глупости. Не заставляйте меня мерз-

---

[20] Примечания: 1.20
Это Бог знает что! (фр.).

нуть на морозе. Скорее сюда…

Она вошла на крыльцо, потом в сени, незаметно увлекая меня за собою.

— Все благополучно? — спросила она у горничной, снимавшей с нее теплые ботики.

— Так точно. Братец ваш уже спать изволят…

— Ну, еще бы! Это мы только такие полуночники! Вот что, Настя. Приготовьте сейчас же барину постель в кабинете.

Я покорно дал себя раздеть, понимая, что возражать напрасно.

— Чай вам подать в столовой или отнести в кабинет? — совсем просто спросила она меня, когда мы прошли с нею в полутемную гостиную.

— О, мне, право, ничего не хочется, — недоумевая и снова чувствуя тяжесть в голове, пробормотал я. — Вы так любезны…

Она не дала мне договорить начатой фразы, внезапно прижавшись ко мне и целуя в губы.

— Милый, глупый, милый…

Я до того растерялся, что опомнился только тогда, когда около себя увидал вместо Лины Федоровны горничную с зажженной свечой в руке.

— Пожалуйте вот сюда, барин, — еле открывая слипшиеся от сна глаза и двигаясь, как лунатик, проговорила она.

Я лежал на широком ковровом диване, под сырыми, пахнущими мылом простынями, натянув еще сверх их и одеяла свою шинель, дрожал от нервного возбуждения, неодолимого сна, налегающего мне на лоб, и таращил глаза на мигающее пламя свечи, Бог знает, чего ожидая и боясь заснуть. Обстановка комнаты, разговор мой с Линой Федоровной, качка в возке и бал — все как-то странно перемешалось, прошедшая действительность представлялась каким-то запутанным рассуждением, а разговоры принимали живые образы. Я помню только одно, что я упорно ждал кого-то, но уже не Лину Федоровну, и сквозь сон боялся все, что потухнет свечка.

Наконец, уплывая куда-то со своими мыслями, сложивши математическими выкладками из незнакомых мне людей и еще многим чем-то непонятным, я почувствовал, что кто-то дотронулся до меня и ласкает мою щеку мягкой, нежной рукой. Я вздрогнул, открыл, как мне показалось, громадные глаза и спросил:

— Это ты?

Мне почудился ответ. Он был чуть слышен. Тогда я совсем проснулся и приподнялся на локте.

Большой рыжий кот, изгибая длину, терся о мою щеку и мурлыкал.

Собственно, ничего страшного не было, но холодная дрожь пробежала у меня по телу.

Я схватил зверя за шиворот и швырнул его далеко от себя.

Свеча догорела, остался один фитиль, плавающий в почерневшей бумаге. Я задул огонь и быстро закрыл глаза. Мне показалось, что два блестящих кошачьих глаза смотрели на меня и что эти глаза принадлежали Лине Федоровне.

***

Проснулся я поздно, с головной болью, и сразу же вспомнил все происшедшее вчера. Это совсем испортило мое настроение. Главное, мне было стыдно, нестерпимо стыдно чего-то. Я быстро оделся и вышел в столовую. На столе стоял один прибор, и ни живой души вокруг. Я уже хотел пройти дальше, когда на пороге показалась горничная и передала, что барышня мне кланяется, извиняясь, что не может видеть меня, и что лошади уже ждут у крыльца.

Не глядя в глаза горничной и не выпив чаю, я накинул шинель и сел в поданные сани.

День был солнечный, но на душе у меня было мрачно и я бессознательно втягивал голову в поднятый воротник, точно прячась от самого себя.

Всю следующую неделю я старался не думать о вас и Лине Федоровне. Странно, я точно винил вас во всем случившемся и дулся, как мышь на крупу. Наконец, на девятый день, я решил воспользоваться вашим приглашением.

За тот короткий промежуток времени, в который мне удалось побыть с вами, я достаточно хорошо пригляделся к вам и вашим вкусам. Я сразу понял, что нужно говорить и как поступать, чтобы возбудить в вас сочувствие.

Поэтому так легко, просто и искренне разговорились мы в этот мой приезд к вам.

Ваш муж… вы знаете, он понравился мне сразу и вы, кажется, были рады, когда я вам сказал это. Рады не за него, а за мою правдивость. Он, действительно, был красив, умен, но… но жалок. Он мне показался человеком выбитым из колеи, совершено не знающим, что делать со своим красивым маленьким лицом, со своим большим стройным ростом, со своим умом, со всем тем, что окружало его, включая и вас сюда же. Я уверен, что во всех положениях, во всех случаях жизни он производил такое же впечатление. Но все-таки он понравился мне и, скажу вам без утайки, я уверен, что именно благодаря ему я сразу стал искреннее и увидел в вас глубоко чувствующую,

страдающую женщину.

Только попав в вашу усадьбу, в ваш милый, такой благородный (я не знаю, какое другое подобрать сюда слово) дом, увидав вас и вашего мужа вместе, я понял, кого нашел в вас, и во мне проснулись другие человеческие чувства. Вы оба были глубоко несчастны, как могут быть несчастны люди, сделавшие когда-то непоправимую ошибку, постоянно чувствующие ее, но не имеющие сил и грубости порвать создавшиеся благодаря этому цепи. Он возвел скуку ненужного прозябания в какую-то догму для себя, вы взяли свой крест и понесли его, утешая себя, что так должно, что в этом и есть смысл жизни. Вы обратились к религии, вы создали себе идолов, чтобы только не думать о другом, о невозможном. Какое жалкое утешение и как упорно, исступленно отстаивали вы свое право на такую веру. Именно это-то упорство и убедило меня, что вы все-таки несчастны, что это не то.

Простите меня, — слушая вас, ваши смиренные речи о том, что надо забывать себя ради других, что разумному человеку — жене, матери — остается только вера и долг, долг и вера, я внутренне улыбался и говорил себе: «Это все искренне, я знаю, что ты убеждена в этом, но прислушайся

к себе и ты увидишь, что тебе нужна любовь, только одна любовь… И ее у тебя нет и она у тебя *будет*…»

Теперь я хотел, чтобы вы полюбили, я хотел, чтобы вы хоть на миг произнесли другие слова. Тот легкий флирт, который я хотел завести с вами сначала от скуки, потом из самолюбия благодаря замечанию Гагарина о вашей неприступности, — теперь уже не мог удовлетворить меня. Все здесь было гораздо сложнее, все превращалось в нечто серьезное. Это был уже не спорт, а операция, — сложная, но обязательная операция, где я был хирургом, а вы и ваш муж больными. И я был не равнодушным, а внимательным, почти любящим хирургом. Я совершенно не думал о том, что, разрушив ваш карточный домик, построенный с таким трудом и мукой из долга, слабости, привычки, я оставляю вас совершенно беспомощными, уже без всякой опоры, с опустошенными душами. Я не хотел об этом думать, я хотел только доказать вам, что так жить нельзя. Я хотел только совершить операцию — потому что вы все-таки были для меня чужой, только были любопытны.

Мы стали видаться очень часто. Я видел, как душа ваша таяла, как вы робко пробовали ступить на другую дорогу и как вам при этом было и

жутко и радостно. Вы утешали себя сначала, что муж ваш не любит вас, что с самых первых дней вашей совместной жизни он обманул вас, потом вы сознались, что сами не любите его, потом и этого уже не нужно было.

— Уйдите, — сказали вы мне однажды. Помните, мы шли с вами лесом и белый снег с певучим шорохом падал за нами с ветвей. — Я прошу вас — оставьте меня. Я сама не знаю, что со мною, я не узнаю себя. Все равно из этого ничего не выйдет, это гадко. Ведь вы же не любите меня, так для чего же все это?

Вместо ответа я прижал вас к себе и поцеловал. Целуя меня, вы шептали:

— Ради Бога, уходите, пощадите меня — я люблю вас… люблю…

Видите, я и теперь не щажу вас, напоминая вам все это. Вы созданы для того, чтобы вас не щадили, чтобы вам каялись, чтобы плакали с вами.

***

В этот же день, возвращаясь от вас в город в своих маленьких санках без кучера, я встретил Лину Федоровну. Она ехала мне навстречу и сразу же узнала меня.

— Николай Петрович, Николай Петрович, —

подождите!

Я задержал лошадь, давая дорогу ее саням.

— Куда вы? — спросила она.

— В город…

— Вот и прекрасно! Поезжай, Иван, домой и скажи барину, что я уехала за покупками. Вы меня пустите к себе?

— Сделайте одолжение!

Она отдернула медвежью полость и села рядом со мной.

Лошадь тронула, заскрипели полозья, — мы поехали. Все было донельзя неожиданно. Я только с удивлением приглядывался к своей спутнице. Она показалась мне совсем не такой жалкой, как раньше, она была очень хорошенькой сегодня и интересной. Забрав у меня вожжи, она правила и заразительно смеялась.

— Я люблю править и ехать так, чтобы захватывало дух, — говорила она.

Мой вороной Орел широко забирал ногами и мы, точно, неслись очень быстро. Мороз жег щеки, но было тепло и славно под шинелью.

— Опять от Анны Андреевны? Что же, как ваши дела? Я уверена, что вы пользуетесь успехом. Бедная! Она так несчастна, ее никто не любит. Вы не замечали, что так называемых порядочных,

святых женщин легче завлечь, чем легкомысленных! Это закон, это истина! Поэтому можете не гордиться…

Она смотрела мне прямо в лицо, смеясь одними глазами.

— Я ничуть ничем не горжусь, — улыбаясь, ответил я. Она, право, занимала меня, и кроме того, я еще <был> полон нежным чувством, навеянным вами, и не мог сердиться. — Мои отношения к Анне Андреевне совсем не те, что вы думаете…

— Будто бы?

— Уверяю вас. И если я хотел бы чем-нибудь гордиться, то никак не победой над Анной Андреевной, а…

— А надо мной, — подхватила Лина Федоровна, с силой ударяя вожжей по крупу лошади.

Белый ком снега ударил мне в лицо.

— Что же, гордитесь и этим. Я вас люблю, вы мне нравитесь, — больше того, я еду к вам сейчас…

Хотя она и угадала то, что я хотел сказать ей, но хотел я это сказать, совсем не придавая своим словам какой-нибудь смысл, а просто для того, чтобы поддержать тот легкий, двусмысленный разговор, который она вела. Поэтому, как я ни подготовлен был ко всяким случайностям, но то, что она мне ответила, совсем смутило меня. И

не только смутило, но дало какую-то бешеную надежду.

Уже совсем другими глазами смотрел я на эту девушку с такими тонкими чертами лица, с такими обещающими взглядами, с такой гибкой, как ее тело, душой.

— Лина Федоровна, вы опять шутите, — пробормотал я.

— Я не люблю шутить, — ответила она, и вдруг глаза ее стали строгими и потемнели. — Вы знаете — я скоро умру… Вам тоже недолго осталось жить…

Ее слова совсем не вязались с моим настроением. Я засмеялся.

— Полноте. Эти мрачные предчувствия всегда бывают перед чем-нибудь радостным. Вы очень нервны.

Она не возражала и мы молча доехали до моей квартиры.

Стемнело быстро и я зажег лампы и опустил шторы. В моей маленькой квартире было уютно и тепло. Денщика я отпустил и мы остались совершенно одни.

Я старался не думать о том, что я делаю, старался не вспоминать вашего лица, главное, хотел поскорее забыться, интриговал себя самого, спра-

шивая, что будет дальше.

Лина Федоровна села на диван, подобрав под себя ноги и спрятав руки в большую меховую муфту. Ее глаза оставались печальными и темными. Я подошел к ней, сел на ковер и протянул к ней руки.

— Вы все еще мрачны?

— Нет, я думаю, как я буду лежать на столе вся в цветах и как вы…

— Полноте. Не нужно больше об этом, — перебил я ее. — Вы мне говорили, что я могу гордиться, что вы меня любите… Бросьте эту муфту и протяните мне свои маленькие ручки… Ну…

Она оставалась неподвижной. Я начал нервничать.

— Да бросьте же…

— Подождите… зачем так скоро? Сначала полюбите *вы* меня… Положите вот сюда голову, закройте глаза и старайтесь не думать об Анне Андреевне…

Она взяла мою голову и положила ее себе на колени, накрыв муфтой.

— Я не вспоминал о ней, — невольно протянул я, чувствуя, как от неудобного положения и меха муфты вся кровь прилила к голове.

— Тем лучше. Но дайте мне слово, что только

тогда вы подымете голову, когда совсем забудете Анну Андреевну. Ш-ш — молчите, — прибавила она, почувствовав, что я хочу возражать. — Молчите и слушайте меня. Я буду рассказывать. Вы еще не знаете, как горячи мои поцелуи, вы не знаете, как крепко, до боли я могу обнимать этими своими руками… Когда вы забудете ее и подымете голову, вы увидите мою грудь. Ее еще никто не целовал и для вас первого я расстегну свой лиф… Шш — молчите…

Я стоял на коленях, перегнув шею, чтобы иметь возможность держать свою голову на ее ногах, задыхался под горячей, пахнувшей духами и щекотавшей мне нос муфтой, и добросовестно старался не думать о вас. Это было глупо, но я покорно исполнял ее волю. Наконец, поняв, что все мои усилия напрасны, что именно потому, что я не хочу думать о вас, я поминутно вспоминаю вас, я быстро поднял голову и схватил девушку за талию, почти падая от усталости и желания. Она мгновенно вырвалась из моих объятий и вскочила ногами на диван. Ворот ее кофточки был расстегнут, волосы растрепались, глаза блестели зло и насмешливо, как у кошки.

— Вы глупы! Ай-ай, как вы глупы, — не сводя с меня усмехающихся глаз, сказала она.

— А ты жестока и зла. Я не позволю смеяться надо мной… — пробормотал я, подымаясь и снова начиная раздражаться.

— Лучше быть жестокой, чем скучной, — ответила она.

Я рванулся к ней — она перебежала на другой конец дивана. Я последовал за нею. Тогда она спрыгнула с дивана и побежала по комнате, опрокидывая столы и стулья.

— Люблю, люблю, люблю, — повторяла она на разные лады, смеясь и задыхаясь от беготни. Я гонялся за ней, обезумев, ничего не понимая, ничего не желая, кроме ее близости.

Наконец, я настиг ее и неловко упал с нею на пол. На мгновение она замерла, глядя на меня покорными глазами, но потом неожиданно быстро вскочила на ноги, схватила тяжелое пресс-папье и размахнулась. Ничего не соображая, я все еще тянулся к ней. Совсем близко пронеслось что-то большое и тяжелое, послышался звон разбитого стекла, и холодная струя морозного воздуха обдала меня, сразу приводя в чувство. Я оглянулся. Лины Федоровны уже не было. В передней громко хлопнула выходная дверь.

***

Вы, зная меня хорошо, можете представить себе, каково было мое состояние все эти последующие дни. Второй раз быть одураченным какой-то девчонкой — это было свыше моих сил. Я чувствовал, что кто-то чужой, мне враждебный посмел противопоставить моей воле свою волю, заставил меня считаться с собою. Это было и оскорбительно и непонятно. Я совершенно не знал, как отнестись ко всему случившемуся. Оскорбляться было смешно, потому что мой противник была женщина и женщина мне чужая, за которую никто не мог ответить; игнорировать, как я это делал раньше, когда что-нибудь извне мешало мне — я не мог. Я сознавал, что равнодушия у меня уже нет, что я заинтересован, более того, — увлечен. Ехать к вам я положительно не мог. Я не мог бы теперь спокойно взглянуть на ваше прекрасное лицо, говорить с вами, продолжать то, что вы считали любовью. «Пусть лучше я покажусь грубым, жестоким, но я не поеду к ней», — решил я.

Так, ничего не предпринимая, волнуясь, обвиняя себя, жмурясь от чувства стыда и неловкости, я все чего-то ждал и утешался мыслью, что я

что-нибудь не так понимаю, что все скоро выяснится.

День шел за днем, зима проходила. Завалки превратились в сплошную грязь.

Желая отвлечь от себя неприятные мысли и почувствовать в себе, как раньше, спокойствие и уверенность, я пристрастился к картам.

Счастье шло мне прямо в руки и вознаграждало за то скверное чувство неловкости, которое иногда все еще приходило ко мне, похожее на стыд, испытанный мною в корпусе, когда на медицинском осмотре я стоял голый перед одетыми докторами.

В один из таких дней я получил записку от Лины Федоровны.

Она писала: «Приезжай ко мне проститься. Ты должен это сделать во имя нашей любви».

Много раз перечитывал я записку, недоумевая и волнуясь, готовый сейчас же ехать к ней и снова оскорбляясь.

«Да что же, что же это, наконец? — спрашивал я себя, глядя перед собой на огонь лампы. — Что это за девушка?» — и, не умея себе ответить на этот вопрос, начинал ощущать знакомый приступ раздражения и обиды.

«Нет, довольно. Это слабость. Это глупость. Я

не прощу себе, если в третий раз меня обманут. Я не поеду».

И я остался. Но прошло три дня, еще день и еще день, и я понял, что я притворяюсь, будто не хочу ехать, что я играю с самим собою в жмурки, понял, что это сильнее меня; велел запрячь Орла и поехал.

Но было уже поздно. Лины Федоровны я не застал. Она покинула усадьбу за три дня до моего посещения. Мне передала только знакомая горничная, что барышня велели мне кланяться. Вот и все. Брат ее остался, но он никого не хотел видеть и меня не пустили к нему.

Никогда я не испытывал такой тоски, такого отчаяния, как в этот день. Это не была любовь, это не была жалость по утраченному, это было какое-то гнетущее состояние придавленности, беспомощности, слабости. Я лег рано и долго не мог заснуть. Наконец, забылся и во сне увидел Лину Федоровну. Она пришла ко мне и, наклонившись, что-то шептала. Она казалась мне обаятельной. Я потянулся к ней, переспрашивая:

— Что ты говоришь такое, я не слышу — повтори.

— Я не хотел прийти — ты опять обманула бы меня, — шептал я.

Она улыбалась.

— Ну хорошо, так ты попрощаешься со мной после. Слышишь? Ты приедешь и поцелуешь меня. Помни, что… так будет!

Я проснулся в холодном поту. В окно брезжило утро. У моего сердца, прижавшись к груди, лежала кошка. Та самая кошка, которая приходила ко мне в имении Лины Федоровны. Как она попала сюда? Я протер глаза, но это не был призрак, это была настоящая, рыжая кошка.

Я вскочил с кровати, взял кошку за мягкую шею, потом отворил форточку и, помахав в воздухе, бросил ее на улицу. Я слышал, как она шлепнулась о промерзшую землю.

Но заснуть я уже не мог. Смутное чувство страха шевелилось в моей душе. Я пробовал развлечься, достал шахматы и начал играть, но ничего не выходило. Мысли мои упрямо возвращались к виденному сну, к рыжей кошке. Я повторял себе, что это глупо. Глупо, говорил я, но слышал только само слово, не понимая его значения.

«Что за вздор — почему я буду прощаться с нею? Никогда этого не будет, никогда… И вообще, надо забыть все это, пора заняться чем-нибудь другим. Ведь я же не люблю ее, и потом, она не может меня оскорбить… Вздор… надо забыть…»

Говоря «забыть», я видел перед собою Лину Федоровну, стоящую ногами на диване, со злыми смеющимися глазами и расстегнутым воротом кофточки.

«Забыть…»

Да, я забыл, только не ее, а вас, Анна Андреевна, забыл совсем, как забывают те тихие, счастливые вечера, которые бывают только в детстве и которыми дорожат только в детстве, а вспоминают под старость. Я забыл вас, когда получил ваше письмо, трогательное, наивное письмо, просящее меня простить вас, вашу минутную слабость, предлагающее мне дружбу вместо любви, которой у вас — жены и матери — не должно быть.

Я краснел, когда читал это письмо, краснел за себя и за вас и охотно согласился больше не тревожить вас. У меня у самого было слишком смутно на душе. Только теперь, когда прошло много времени с тех пор, я решился писать вам, исповедаться перед вами и просить прощения. Вы видите, как я жалок, как ничтожен, видите, как я недостоин вас. Я хочу, чтобы вы увидели это, так как хочу загладить теперь то, что я сделал, потому что хочу, чтобы вы были покойны и счастливы.

Перед отъездом из Завалок я мельком видел

вас, но не подошел к вам и хорошо сделал. Чем хуже, чем порочнее вы меня считаете, тем лучше для вас. Но почему вы посмотрели на меня так светло, почему в ваших глазах я прочел прощение? Это дурно. Меня надо учить, а не жалеть. Прощайте».

***

Далее следовали листки совсем другого формата и цвета. Ясно было, что они были писаны в другое время. На одном я разобрал только следующее:

«Хотел послать вам свою исповедь сейчас же из Петербурга, но вижу, что не время. Вы получите ее перед моею смертью. А Сумов все-таки не так беспечен, как думают…»

На обратной стороне:

«Я ее видал на днях на Варшавском вокзале. Я думаю, что она. Шла под руку с вашим мужем. Узнал он меня или нет?»

Потом опять следовали густо написанные страницы:

«То, что произошло вчера, было так ужасно, так непонятно, что я думал одно время — уж не сошел ли я с ума? Кто мог ожидать, что из глупой пьяной шутки выйдет что-то необъяснимое, но, я

уверен, преднамеренное.

Я сам дал адрес гробовщику. Дал адрес, которого никогда не слыхал раньше и готов был уже посмеяться своей шутке, когда… когда увидал ее и именно там, на Бассейной 17, куда я направил гроб. Лина Федоровна лежала мертвой, так, как она говорила мне, вся в цветах, на столе, я стоял рядом, ничего не понимая, боясь понимать и вместе с тем чувствуя, что все делается так, как нужно. Для моих товарищей это было неприятное совпадение, фантастическое завершение пяти пьяных дней, тема для пикантного анекдота в гостиных. Для меня это была страшная правда, о которой я старался забыть. Опять какая-то воля, сильнее моей, управляла моими действиями, глумилась надо мной и уже не выпускала меня. Я хотел поцеловать ее в лоб, но поборол себя — ненадолго, — я это чувствую.

Когда я ложился вчера ночью, я увидал ее у себя на постели. Она упорно смотрела мне в глаза.

— Почему ты не поцеловал меня? Поцелуй меня…

Я ведь слышал, что она говорила это!

Но как я ее поцелую, когда ее уже нет? Как?..

Опять эта рыжая кошка. Она забралась ко мне на колени, урчит. Я пробовал кормить ее сахаром.

Но она не ест и смотрит на меня. Это не может так продолжаться. Почему я должен исполнять то, что она хочет?»

«Целую неделю я был спокоен. Все это вздор — расстроенные нервы. Сегодня же запечатываю конверт и посылаю эту уйму бумаги вам. Читайте и посмейтесь, как смеюсь я. Меня все-таки забудьте. Дай Бог вам счастья.

Ваш искренний друг Сумов».

И больше ни одной строчки.

Я перебирал листки, искал на полу, но ничего не нашел. Здесь было все, что говорило о Сумове, здесь было все, что я мог узнать о нем. Об остальном надо было догадываться. Ведь он же застрелился… Значит… Это не только расстроенные нервы… значит…

Что — значит?

1910 г. Ноябрь. Павловск.

БЕАТРИЧЕ КОТА БРАМБИЛЛЫ{15}

М. А. Долинину

Зажав плотно зубы и вооружившись большими ножницами, которыми режут бумагу, силился Анемподист Иванович состричь толстый, корявый ноготь на большом, тупом своем пальце, отчего лицо его морщилось глубокими складками.

Глядя на него зелеными, злыми глазами, урчал старый кот Брамбилла, выгибая взъерошенную спину и шурша листами, раскиданными по столу.

Один из листов, белый и матовый, точно смазанный салом, лежал на ковре посередине комнаты, иногда чуть заметно колеблясь, один освещенный доходящим до него сквозь желтый абажур скучным, безразличным светом. Анемподист Иванович отложил в сторону ножницы, срезав ноготь до половины, встал со стула, подошел и поднял лист. Так он постоял с минуту, словно соображая что-то, потом аккуратно сло-

---

{15} Комментарии: 2.15

Слезкин Ю. Господин в цилиндре. Пг., 1916.

жил лист пополам и спрятал в боковой карман пиджака.

— Не хочешь, и не надо, — другому пригодится, ведь правда, Брамбилла?

Анемподист Иванович ничуть не жалел, что сделка не удалась. Право же, этот лицеист Бурчевский не в меру требовательный заказчик: семь рублей за любовный сонет — цена не Бог весть какая высокая, и не виноват Анемподист Иванович, что на сей раз ничего не упомянул о глазах возлюбленной лицеиста.

Он все еще стоял посреди комнаты и в нерешительности догрызал вторую половину состриженного ногтя. Потом сказал, обращаясь к Брамбилле:

— Вот, Брамбилла, каково нынче «Камоэнсам».

Точно следя за тайным ходом мыслей Анемподиста Ивановича, шевелил ушами Брамбилла и поводил вслед за движениями хозяина зеленые глаза свои, но при последних словах поэта соскочил он со стола и оттуда на полку с книгами, на которой в белой своей неподвижности покоился Пушкин. Пробежав по ряду книг, точно по шаткой лестнице, где бок о бок с крохотным томом Шенье грузно стоял в кожаном одиночестве Сологуб, он снова прыгнул на пол, но вслед за ним грузно

ударился о ковер желтый том ослиной кожи. Испуганно шарахнувшись в сторону, Брамбилла через мгновенье легким, неслышным шагом подошел к книге и, обойдя ее, уставился в раскрытую страницу. Прерванный на меланхолическом своем занятии, посмотрел Анемподист Иванович в сторону лежащей книги, но тотчас же новый и непонятный ему звук коснулся его слуха.

Ясно слышно было, как за окном шуршала снежная не-погодица, но звук, поразивший поэта, хотя был значительно тише доносящейся через окно завирухи, все же настойчиво, не сливаясь ни с чем, наполнял комнату.

Охваченный неприятным волнением, подошел быстро к дверям Анемподист Иванович и распахнул их.

Из темноты непроветренной столовой, где запах остывшего жаркого и табачного дыма, казалось, пропитал все вещи, смутно выступал обеденный стол, накрытый белой скатертью, и тусклый глянец чашек на буфете загорелся и угас. Но в столовой было тихо, до жуткого тихо.

Когда Анемподист Иванович увидал, что в столовой никого не было, он призадумался и тихонько, на цыпочках, обошел комнату, все еще не понимая, откуда доносится странный

звук. Может быть, шум метелицы или завывание ветра в трубе заглушали этот звук по временам и он доносился то явственнее и громче, то совсем глухо. Наконец, в ту минуту, когда шум ветра утих, он услышал этот странный звук, во всей его силе доносившийся из угла темной столовой.

Анемподист Иванович, ступавший до сих пор тихо и на цыпочках, решительными шагами, опираясь на каблуки, пошел навстречу таинственному звуку. В углу комнаты на столике стоял самовар. Кран был открыт и из него шла струя воды, уже переполнявшей фарфоровую полоскательницу.

— Брамбилла, — крикнул поэт, — сюда, мой друг, — но Брамбилла словно не слышал призывных слов хозяина и продолжал мурлыкать и мяукать над раскрытой книгой в соседней комнате.

Минуту помедля, поэт еще раз крикнул:

— Брамбилла!

Но нежданно томная задумчивость охватила все существо его и он незаметно для себя опустился на стул рядом со столиком, где по-прежнему с медленным звоном падала в фарфоровую полоскательницу струя воды. Он с непонятным любопытством разглядывал все наполнявшуюся

чашку, тускло освещенную проникающим из кабинета темным светом; он слушал напевный плеск воды, смотрел на рисунок полоскательницы — чуть видно темнеющие букеты роз, точно сейчас расцветшие на тусклом фарфоре. Резкий звон электрического звонка прервал смутные мысли Анемподиста Ивановича и заставил его порывисто подняться с места. Обождав минуту и убедившись, что звонок не повторился, он решил, что звон ему только почудился и, усталый, неверной походкой побрел в кабинет. Там, как и прежде, сидел над развернутой книгой Брамбилла, значительно поводил ушами и фыркал, глядя зелеными глазами своими на ровные черные строки. Без особенного любопытства, почти машинально, занятый далекими мыслями, опустился на ковер Анемподист Иванович и вслух прочел первые попавшиеся ему строки:

«Где Беатриче?» — молвил я с тоскою,
И, указав на дерево рукою,
Ответила мне спутница: «Взгляни…»

Он оборвал внезапно свое чтение, так как снова резкий, отрывистый звонок недовольно прервал тишину.

Не было сомнения, кто-то хотел, чтобы его пу-

стили в этот глухой час ночи.

Обеспокоенный и раздраженный, поэт прошел в переднюю; не зажигая огня, щелкнул английским замком. Неясная женская фигура стояла перед ним.

— Вы ошиблись дверью, — растерянно пробормотал Анемподист Иванович.

Она помолчала минуту. Потом тихо и уверенно сказала:

— Разве не сюда должна прийти Беатриче или, может быть тот, другой, ждет ее, а не вы?..

Анемподист Иванович молча отступил, учтивым жестом руки приглашая войти незнакомку.

Войдя в кабинет, она подняла раскрытую книгу, положила ее на стол привычным движением женщины, всюду замечающей беспорядок, потом уселась в кресло и стала гладить выгнутую спину Брамбиллы, прыгнувшего к ней на колени.

Анемподист Иванович растерянно стоял перед нею, потом сказал:

— Простите, одну минуту…

Пошел в столовую, закрыл кран самовара и вернулся в кабинет.

— Я знала, что этот сонет вам не удастся, — молвила женщина, — знала, что вы пишете стихи, и вам некому их посвящать. Вы продавали ваши

строки и они приносили счастье тем, кто их покупал. Но ваш последний заказчик был последним — поверьте мне…

Поэт склонил голову над ней и, держась за спинку кресла, на котором сидела незнакомка, тихо вздохнув, ответил:

— Я не удивлюсь, если вы скажете, что вам известна вся моя жизнь. Люди, подобно мне, живущие замкнуто и одиноко, подчас оказываются на виду у всех. Но в этой комнате, и вот в той (он кивнул на дверь, ведущую в столовую), только две души обитают: из них одна — немая, мой верный друг Брамбилла, и я. Я читал в одной очень древней книге, что когда человек долгое время остается одиноким, душа его постепенно испаряется, покидая тело; она рассеивается по всему его жилищу, задевая и наполняя неодушевленные предметы. Не удивляйтесь и вы, если я скажу вам, что вещи в моих комнатах стали полуживыми, а я теряю жизнь, постепенно, день ото дня… Книга, давно мною не читанная, всегда попадается мне в руки и лист бумаги слетит со стола в ту минуту, когда я начну писать стихи против воли…

— Я это знаю, — ответила женщина и погладила спину мурлыкавшего Брамбиллы. — Вещи, вещи… Ах, как знакома мне их тайная жизнь, как

часто, оставаясь одна, я разговаривала с ними… Может быть, это нервы — теперь все объясняют нервами — но, входя в комнату ранними сумерками, я каждый раз вздрагиваю, мне всегда чудится, что кто-то передо мною был здесь, что в моем кресле, у моего стола сидит существо мне неведомое — может быть, я, может быть — моя душа.

Замедляя речь свою, все печальнее говорила незнакомка.

— Боже мой, почему ищут поэты таинственного в необычайном, когда в самом обычном живет тайна…

Она тихо рассмеялась, точно струя воды медлительно лилась где-то поблизости, и на мгновение Анемподист Иванович увидел себя в темной столовой у самовара, и смутные пятна роз расцветали перед ним на матовом фарфоре чашки…

Он повел рукою по лбу, устало закрыл глаза и, вновь открывая их, увидел по-прежнему сидящую перед ним женщину.

— Беатриче, Беатриче… я сегодня читал Данте.

Весело незнакомка перебила его:

— Меня зовут Мария Ивановна… да, Мария Ивановна… Это очень простое, очень обыденное имя… Но разве плохо — Мария Ивановна?

— Да, конечно, очень хорошо… — Анемподист

Иванович сел против нее и сразу ему показалось так тепло, так уютно в комнате и радостно стало, что за окном непогодь и метелица, а в комнате милая женщина, которую зовут Мария Ивановна, и что она сидит в его кресле, на коленях ее мурлычит самый обыкновенный, приблудный кот. Поэт потер бритые, повядшие щеки свои ладонями и улыбнулся в свою очередь успокоенно и по-детски.

— Конечно же, Мария Ивановна, — повторил он, — и конечно, у вас голубые глаза, ласковые, хорошие глаза — милой, простой женщины. Конечно же, большая ошибка, что я забыл о ваших глазах, когда писал стихи и потому они не удались мне. Ведь это так просто, так обыкновенно, и вместе с тем — так важно. Славная Мария Ивановна…

Он протянул к ней нелепые свои длинные руки и она взяла их в свои и медленно гладила, как только что гладила спину Брамбиллы — со спокойной заботливостью.

— Какой у вас смешной ноготь, — молвила она, — вы совсем не умеете стричь ногтей.

— Я ничего не умею, я одинокий.

— Вы пишете стихи, — отвечала незнакомка, — а теперь вы уже знаете, какие бывают глаза у

женщины… Что же еще вам нужно знать, чтобы быть поэтом?

Анемподист Иванович молча поцеловал узкую ладонь, посмотрел в светлые глаза Марии Ивановны и резким движением сбросил на пол Брамбиллу.

— Милая, добрая Мария Ивановна, — повторял он.

А Брамбилла, чудно выгнув спину, шипел и мяукал, глядя на них.

И ничего не слышал Анемподист Иванович, все ближе склоняясь к такому знакомому, такому милому лицу Марии Ивановны. Ее руки были приятно теплы, а нежные, тонкие пальцы с ясными теперь и такими понятными следами от уколов иголки касались его щек и воспаленных век, и уже чувствовал на губах своих Анемподист Иванович сладкое дыхание и жар чужих губ, но внезапно малиновое облако прошло пред глазами его и услышал он, что снова тут, поблизости звенит холодная струя воды, а смутные головки роз расцветают на фарфоре. Цветы становились все явственнее, все шире и сладостнее раскрывали они свои лепестки, и уже видел их он у своих глаз, у своей шеи, чувствовал их благоухание. Пестрое и яркое кольцо сжималось у его горла,

точно руки Марии Ивановны в жарком объятии хотели задушить его.

Беспомощно поводя пальцами, силился понять, что с ним, Анемподист Иванович, но тщетно. В синем, желтом, красном вихре проносились по воздуху огромные розы, вот-вот готовые его засыпать.

***

Топоча сапогами и оставляя мокрые следы на паркете, суетились дурацкие рожи, раскрывая дверцы буфета, звеня стаканами и проливая воду и переговариваясь испуганными голосами.

Свиная морда бесстрастно и тупо склонилась над Анемподистом Ивановичем, а голос, тревожный и такой милый, спрашивал о чем-то у него с участием.

И только начинал вникать в происходящее вокруг него, как снова нелепо и мертво глядели на него со всех сторон диковинные чудовища — Мефистофель, бычья морда, петух с ослиными ушами и навсегда удлинившееся, бледное и круглое, как луна, лицо Пьеро.

Ощущая непонятную саднящую боль на шее, потянулся к ней руками Анемподист Иванович и тотчас же увидел на пальцах своих кровь. Тогда,

приходя все в большее волнение, но все яснее различая окружающее, он проговорил хрипло:

— Беатриче… почему нет Марии Ивановны?..

Дурацкие рожи, обступая его, заговорили разом:

— Он бредит, он все еще бредит… Я говорил открыть форточку… Этот проклятый кот чуть не задушил его. Но, черт возьми, ночь карнавала могла бы окончиться трагически, если бы мы не поспели вовремя. И, посмотрите, впопыхах никто из нас не снял даже маски.

Окончательно придя в себя и смотря на мертвого Брамбиллу и лужу воды перед собою, на полную полоскательницу, угрюмо пробормотал Анемподист Иванович:

— Если это был только чудный сон, то как вы глупы, что его прервали…

ФОНАРЬ В ПЕРЕУЛКЕ{16}

1

Оборванные клочья туч прикрыли месяц как раз тогда, когда худой господин, в широкополой шляпе и пальто с поднятым воротником, свернул в переулок.

Пройдя несколько шагов, споткнувшись на деревянных прогнивших досках, которые заменяли здесь тротуар, остановился господин в нерешительности и, прищурясь, повел носом. Переулок был захолустный, может быть, самый дрянной во всем городе.

Далеко впереди слепо мигал один-единственный керосиновый фонарь, но свет его едва ли не делал ночь вокруг еще темнее.

Господин попытался было опустить ногу с тротуара наземь, но тотчас же почувствовал, что сапог погружается в холодную жижу. Бормоча проклятия и вытянув вперед нос, весьма длинный и тонкий, решился все же господин

{16} Комментарии: 2.16

Слезкин Ю. Собрание сочинений. Т. 5. М., 1928. Впервые — Всемирная иллюстрация. 1923. № 10.

продолжать путь свой по доскам, рискуя упасть и свихнуть себе шею.

По обе стороны тянулся ряд низких деревянных домишек с наглухо закрытыми ставнями. Все обитатели, должно быть, спали, потому что ни из одной щели не пробивался луч света. Из-за досчатых заборов свисали мокрые ветви деревьев и, потрясаемые порывами налетавшего ветра, ударяли ночного путника то по спине, то по шляпе.

Преодолевая трудности пути, продолжал господин подвигаться к фонарю, причем нос его выдавался далеко вперед, старательно вынюхивая запах сырой земли, прелость дерева, навоза и дыма.

Дойдя до фонарного столба, давно облезшего и покосившегося, господин оглянулся.

Напротив увидел он два освещенных запотевших окна и стеклянную дверь. Над крылечком нетрудно было прочесть надпись «Аптека».

Подойдя ближе, внимательно всмотрелся господин в зеленые и красные аптекарские флаконы, точно впервые их видя, заинтересованный меланхолическим их светом. Потом, видимо сейчас только о чем-то вспомнив, быстро поднялся незнакомец по деревянной лесенке на крылечко и дернул за ручку деревянную дверь.

Противно скрипнул болт, глухо и простуженно тявкнул колокольчик, — парной клуб воздуха, насыщенного карболкой и мятой, пахнул в лицо.

Над прилавком низко висела лампа-«молния» с широким зеленым абажуром. Фитиль был приспущен, край стекла закопчен.

Вытягивая шею из-за поднятого воротника пальто и тем обнаружив отсутствие крахмального воротничка, заглянул господин за прилавок и длинными ногтями худых, костлявых рук застучал по стеклу.

Тотчас же из затененного угла раздались хмыкающие, оборванные звуки, потом кто-то чихнул, и, наконец, по другую сторону прилавка появилась фигура аптекаря.

Протирая заспанные, покрасневшие глаза, зевал он во весь рот, трубочкой свертывая язык, как делают это большие собаки.

Придя в себя окончательно, он поднялся со скамьи, на которой лежал, и взглянул на покупателя.

Если недоумение, выразившееся на лице аптекаря, можно было объяснить остатком прерванного сна, то в следующую минуту, когда недоумение это перешло в степень крайнего удивления и точно в зеркале отразилось на лице

пришедшего, — этого уже никак нельзя было объяснить сонным затмением.

Два тонких, длинных носа внимательно обратились друг к другу, две жиденькие бородки точно хотели смешать свои волосы одинакового цвета, а две пары черных глаз, похожих на изюмины, свободно могли бы поменяться местами, ничуть не нарушив общего склада этих двух одинаковых физиономий.

— Однако! — воскликнул покупатель, а провизор с ожесточением потер себе лоб.

— Непостижимо! — повторил пришедший, — можно ли поверить во что-либо подобное… Но все же я привык ничему не удивляться. Человеку пришлось бы стоять, разиня рот, всю свою жизнь, если бы внимательнее он всматривался в окружающее. Все же я не стану утруждать вас пустыми разговорами в такой поздний час и попрошу отпустить мне всего лишь эфирно-валерьяновых капель… да, да, всего лишь такой пустяк, с вашего позволения.

Аптекарь перестал тереть лоб и, убедившись в том, что перед ним не видение, а живой человек, важно надул щеки, выражая этим глубокомысленное достоинство. Он, конечно, заметил, что на покупателе не было крахмального воротнич-

ка, что пальто его носило на себе явные следы пережитых революционных бурь, и не хотел допустить какой-либо фамильярности в обращении с ним незнакомца, столь с ним схожего.

— Вам немного? — спросил он сдержанно.

Покупатель кивнул утвердительно головой, и, когда аптекарь налил капель в пузырек и собрался наклеить ярлык, незнакомец протянул руку, воскликнув поспешно:

— Нет-нет, сударь! Не трудитесь. Позвольте злоупотребить вашей любезностью до конца и попросить у вас рюмочку. Самую маленькую рюмочку, какая найдется… Благодарю вас, чувствительно вам благодарен. Вот, обратите внимание, я капну сюда несколько капель и сделаю один глоток — совершенно пустячное движение горловыми мышцами… Заметили? Прошу не удивляться. Вода мне не нужна. Я обхожусь без воды отличнейшим образом.

Незнакомец запрокинул голову, кадык напружился на его обнаженной, жилистой шее.

Аптекарю почудилось, что у него самого запершило в горле, — он откашлянулся, а взглянув снова на посетителя, увидал длинный нос его, бородку и смешно моргающие, заслезившиеся глазки. Это почему-то сразу смягчило аптекаря.

Он сказал тоном добродушного парня, который не прочь почесать язык с закадычным приятелем:

— Мы иногда любим хватить рюмочку-другую, не правда ли, сударь?

Длинный нос незнакомца слился на тени с точно таким же носом хозяина.

Покупатель шепнул, подмигивая:

— Сознаюсь, это моя слабость. Я должен вам сказать, что я — поэт, человек пустой и с большими странностями. Мне очень совестно, что мое лицо так поразительно похоже на ваше. К тому же, я всегда преклонялся пред аптекарями. Это совершенно особая порода людей… Кто может быть серьезнее, точнее, полезнее аптекаря? Я вас спрашиваю, где вы найдете человека с более точным, ясным мировоззрением? Аптекарь отмеривает нам наше здоровье по граммам и миллиграммам: сегодня — то, завтра — столько-то, точно какой-нибудь чародей или алхимик. Он мешает себе в своей ступке всевозможные яды и делает из них эликсир жизни… — при этом у него совершенно спокойное, уверенное лицо; он точен в каждом своем движении и серьезен, как курица, только что снесшая яйцо. Уверяю вас!

Незнакомец кивнул головой, — нос его на тени прикрыл собою нос хозяина.

Аптекарь снисходительно улыбнулся. Положительно, этот чудак начинал ему нравиться; все-таки, с таким лицом, как у него, нельзя не казаться симпатичным. Не всем же быть почтенными людьми — люди различны даже тогда, когда природа наделила их одинаковыми физиономиями.

— Вы недурно рассуждаете, как я погляжу, — сказал аптекарь. — Конечно, наше дело нелегкое и требует большой аккуратности, но все же мне кажется, вы немного преувеличиваете. Мы не все так серьезны, как вы думаете. Правда, меня знают в этом городе и, смею думать, уважают, но иногда я не прочь побалагурить, это я готов вам доказать сейчас же. Потрудитесь обождать две минуты.

Хозяин потер руки, щелкнул языком и скрылся за дверью, а покупатель уселся у мраморного столика перед прилавком, вытянул длинные свои ноги, положил шляпу на подоконник, зевнул, плюнул в угол и налил еще капель в рюмку.

Он производил впечатление человека, вполне освоившегося с местом, куда попал, — точно прийти в аптеку в глухой час ночи и распивать валерьяновые капли было единственной его целью.

Он сидел за мраморным столиком, барабанил

длинными пальцами и даже пробовал напевать какой-то мотив.

Все изобличало в нем легкомысленного, нелепого человека, для которого время и место не имели существенного значения.

2

— Не угодно ли отведать? — воскликнул аптекарь, неожиданно появляясь перед покупателем с бутылкой в руке. — Это удивительная настойка моего изобретения. Вы никогда такой не пивали. Она создана мною в те дни, когда все пили отвратительнейший сырец, почитая его небесным нектаром. Надо сознаться, в особенно знаменательные дни люблю я выпить рюмку-другую. Но вам я готов услужить, хотя, по правде сказать, вы мне не особенно-то понравились с первого взгляда… Как никак, все же нечасто случается увидать человека, как две капли воды похожего на тебя. Честное слово, дьявол вас возьми (не к ночи будь он помянут), мне все время не перестает казаться, что я смотрю на себя в зеркало.

Хозяин поставил бутылку на стол, вынул из кармана рюмки и налил в них пунцовую, густую жидкость, необычайно душистую и яркую. Посетитель взял двумя своими длинными пальцами

рюмку и поднес ее к носу.

— Ваше изобретение, должно быть, изумительное, — сказал он, плотоядно шевеля губами. — Ну, разве я неправ был, утверждая, что нет более изобретательных людей, чем аптекари, — это мое глубокое убеждение. Ваше здоровье, глубокоуважаемый!

Подмигнув глазом и прищелкнув языком, покупатель медленно стал тянуть наливку. Хозяин смотрел на него внимательно, желая, по всей вероятности, узнать, какое впечатление произвело на гостя его угощение.

Круглые, орехового дерева часы над стеклянным шкафом под литерой «А» уверенно пробили три раза. Незнакомец поставил рюмку на стол, сладко жмурясь, и произнес мечтательно:

— Вы сами не знаете, мистер, какие возможности в вас таятся. Эта изумительная настойка открыла мне многое. Тот, кто мог так необычайно сочетать ее цвет, запах, остроту и сладость, тот несомненно сочетает в себе стремления, мечты и мысли, бесконечно разнообразные. Вы далеко не простой аптекарь. Посмотрите мне в глаза и сознайтесь, что вы совсем не тот, каким вы кажетесь. Позвольте налить вам и себе еще по рюмочке. Вот так. За случай, который нас свел

вместе…

Итак, я настаиваю на том, что вы далеко не заурядный человек. Можно даже сказать — фантастический человек. И если вы никогда не путаете лекарств и не ошибаетесь в составлении снадобий, то я не поручусь за то, что вы это делаете только потому, что твердо знаете, что могли бы поступать иначе. Я думаю, даже вам не раз приходила этакая шаловливая мысль — вместо одного порошка подсунуть другой и посмотреть, что из этого выйдет.

Хозяин отвечал, мечтательно глядя на свет, как переливаются рубиновые капли по краю пустой рюмки:

— Сознаюсь, мне никогда не приходило это в голову. Но однажды я дал вместо рыбьего жира — касторки и всю ночь не мог заснуть от беспокойства. Через несколько дней ко мне пришел тот же гражданин и сказал, что мой рыбий жир оказался превосходным и очень понравился его сыну. Как вам это нравится! Нет, должен сознаться, есть на свете чрезвычайно много глупых людей.

— Ну да, конечно, это должно было вас разочаровать, — ваша проделка вам не удалась, — оживляясь, воскликнул незнакомец, наполняя

рюмки, — но иногда это может удасть-ся. В вашей власти многие жизни! Что такое доктор без аптекаря, скажите, пожалуйста! Совершеннейший младенец! Он может писать какие угодно рецепты, но вы, только вы дадите лекарство! Чуть-чуть изменить пропорцию и то, что принесло бы облегчение, может принести…

Наморщив лоб и надув щеки, аптекарь перебил собеседника:

— То, что вы сейчас сказали, сударь, слишком плохая шутка. Какой порядочный аптекарь может ошибиться в пропорции?! Закон строго карает это. Такая невнимательность недопустима!

— О, любезный хозяин! Я бесспорно плохой аптекарь, но сообразительный малый, — отвечал покупатель, хлопая аптекаря по коленке и хитро подмигивая. — Вам напрасно хочется разыгрывать скромника! В такой час ночи человек может бросить осторожность вместе с воротничком. Почему не позволить себе маленького удовольствия и не попутешествовать в чуждые области?..

Все шире надувая щеки, аптекарь недовольно возразил:

— Далекие путешествия мне не по средствам, а на казенный счет я не охотник.

Незнакомец засунул руки в карманы, вытянул

ноги, откинулся на спинку стула и беззвучно рассмеялся.

— Так-так… Вы поразительный человек, — наконец воскликнул он, — я все больше восхищаюсь вами. Вы говорите так же осторожно, как и приготовляете свои лекарства. Каждое ваше слово имеет уши и подслушивает чужие мысли. Но меня трудно провести, уверяю вас! У меня нюх, у меня настоящий нюх на людей. Кроме того, вы анафемски похожи на меня и, следовательно, достаточно перевернуть вас наизнанку и вы станете таким же точно, как я. О, в этом нет сомнения! Вы любите путешествовать, вас влекут необычайные страны и потому вы — аптекарь и сидите столько лет на месте. Вы презираете людей и потому так ревностно заботитесь об их благополучии. Но вы ошиблись, вас прорвало не однажды и вы этого не подозреваете… Выпьем еще по рюмочке, — ваша настойка великолепно действует на язык.

Они сидели по обе стороны мраморного столика, расставив локти, и только наполовину выпитая бутылка разделяла их. Они говорили, как старые приятели, все понижая голос, точно боялись, что их могут подслушать старые часы над стеклянным шкафом, не перестававшие

отсчитывать время. Многое из их речей так и не стало бы нам известно, ежели бы не кот, большой бурый кот, внезапно вскочивший на столик. Он только что проснулся, потому что глаза его казались тусклыми, и он сладко мурлыкал. Его пушистый хвост сначала махнул по носу хозяина, потом гостя и уже готов был опрокинуть бутылку, но вовремя протянутая рука хозяина спасла драгоценные остатки изумительной настойки.

— Черт возьми! Этот кот всегда сует свой нос туда, куда его не спрашивают! — закричал аптекарь. — Достаточно завести с кем-нибудь секретный разговор, чтобы он был тут как тут. Если бы не его четыре лапы и дурацкий хвост, я мог бы подумать, что он понимает человеческую речь и подслушивает… Брысь, подлая тварь!

И хозяин резким ударом локтя смахнул кота на пол. Кот встал, как встрепанный, сердито фыркнул, но не ушел, а остался сидеть на месте, поводя ушами, блистая своими зелеными глазами.

— Да, он понимает нас, — серьезно возразил незнакомец, — я в этом уверен. Он, может быть, понимает нас лучше, чем мы сами…

Но хозяин взволнованно и досадливо перебил посетителя:

— И вы утверждаете, что я мог сделать что-либо

подобное? Вы настаиваете на том, что он умер после приема этого лекарства, и что со мною не раз бывали такие случаи… Значит, мой страх…

— Был излишен, — невозмутимо продолжал покупатель, — ваша осторожность не спасла вас от того, что вы называете преступлением.

— Это ужасно! — с убитым видом прошептал хозяин.

— Напротив, это даст вам возможность выявить скрытую вашу сущность. Вы теперь совершенно свободны.

— Это правда? — с сомнением спросил аптекарь. — Значит, вы…

— Я — ваше продолжение… Понимаете? Но не прикончить ли нам эту бутылочку?

Незнакомец готов уже был снова наполнить рюмки, но хозяин поспешно поднялся с места, озабоченно посмотрел на часы и торопливо промолвил:

— Нет-нет… мне уже пора, мне нужно идти…

Потом, разыскав под столом шляпу незнакомца, надел ее, отшвырнул от себя кота и направился к выходу.

Покупатель выпил свою рюмку, зевнул и равнодушно сказал:

— Прощайте. Запомните только, что меня зовут

Анемподистом Ивановичем.

Дверь скрипнула, звякнул колокольчик, предрассветный туман пахнул в аптеку, и хозяин скрылся.

3

Ладонями прикрывая глаза, зевал во весь рот Анемподист Иванович, когда подкрался к нему бурый кот и, мурлыкая, стал тереться об его ноги.

Щурясь, повел на него носом поэт и проговорил растроганно:

— Ах, дитя мое, мы одни только понимаем друг друга, но, к стыду моему, я чувствую, что ты гораздо мудрее меня. Будь моим руководителем.

Кот выгнул дугою хвост, чихнул и побежал бесшумными шажками к стеклянному шкафу под литерой «А». Обнюхав шкаф со всех сторон, кот оглянулся на поэта и прыгнул на прилавок, после чего преспокойно занялся своим туалетом.

В тот же миг звякнула выходная дверь, снова клуб предрассветного тумана сыростью наполнил аптеку. На пороге показалась фигура маленькой женщины.

Желтое пламя в потухающей лампе мигнуло и вспыхнуло ярче, осветив на секунду лицо вошед-

шей. Из-под черной круглой испанской шляпы густой волной выбивались стриженые светлые волосы, темные глаза смотрели решительно, характерные губы были плотно сжаты, острый нос такой, какой рисуют дети, когда хотят изобразить человеческий профиль, — точно подчеркивал ясность и стремительность всей фигуры.

Не вынимая рук из карманов широкого черного, наглухо застегнутого пальто, вошедшая приблизилась к Анемподисту Ивановичу и сказала взволнованным, но все же сдержанным голосом:

— Вы должны помочь мне. Я не уйду отсюда, пока вы не согласитесь помочь мне.

— Великолепно! — ничуть не смутившись, отвечал поэт. — Продолжайте, я вас слушаю.

— Рассказ мой короток, — продолжала женщина, — я избегала весь город, но не нашла ни одного врача, никто не откликается на мой звонок, — все спали… Тогда я решила обратиться к вам. Умирает моя бабушка, ей совсем плохо, я не знаю, что делать. Быть может, вы дадите какое-нибудь лекарство без рецепта. Что-нибудь успокаивающее, какой-нибудь наркоз — она так страдает, так обессилена, что не может даже подать голоса.

— Бесподобно! — закричал Анемподист Иванович. — Очаровательно! Она, должно быть, премилая старушка, раз вы так о ней хлопочете? Ее общество доставляет вам, по-видимому, неизъяснимое удовольствие.

Женщина негодующе тряхнула головой, решительно молвив:

— Право, мне не до шуток, сударь! Скажите, можете ли вы дать мне лекарство, и оставьте ваши рассуждения на после.

Тогда поэт поднялся и, взяв покупательницу за руки, заставил ее сесть за столик на стул, где только что сидел подлинный аптекарь.

— Вот так, сядьте и успокойтесь, — рассудительно проговорил Анемподист Иванович. — Я вам дам эфиро-вале-рьяновых капель, и вы придете в себя. Тогда вы расскажете мне, что заставило вас так горячо принять к сердцу страдания вашей бабушки.

Волнуясь, недоумевая, но все же не поднявшись с места, покупательница воскликнула:

— Это же невыносимо! Что за издевательство!

— О, сударыня, я далек от мысли издеваться над вами. Но где встречали вы врача, который, не расспросив пациента или его близких о ходе болезни, прописывает медикаменты? Наша про-

фессия требует осторожности. Итак, сколько лет вашей бабушке?

— Восемьдесят.

— Как давно она больна?

— Три года…

— Сколько лет, по-вашему, осталось ей жить, вернутся ли к ней ее былые силы, и может ли она быть еще кому-нибудь полезна?

— Я не понимаю вас.

— Напрасно! Смысл моих слов ясен. Надеюсь, вы не станете спорить, что всему есть свое время. И что следует иногда положить время тому, что утратило его. Ибо законы природы не всегда совпадают с законами жизни.

Анемподист Иванович печально поник головою.

— У нее, должно быть, чудесный характер, у вашей бабушки, — наконец вымолвил он, соболезнуя.

— Характер? Вы говорите о ее характере? Но это слишком! Я хорошо, слишком хорошо знаю ее характер! Только нет… постойте… поймите же, что она больная, несчастная женщина.

— И властная, — невозмутимо добавил поэт.

— И властная, — недоуменно повторила покупательница.

Анемподист Иванович весь съежился. Он кашлял, махал рукою, смеялся. Ему, должно быть, стало очень весело. Он наполнил обе рюмки настойкой и предложил одну из них молодой женщине.

— Что все это значит? — бессильно молвила она. — У меня вы точно отняли волю. Да, да… бабушка зла, властна, и вы правы, говоря, что ей все равно осталось недолго жить. Кроме того, она страдает… Но ведь я пришла не за этим. Я пришла за успокоительным лекарством… Конечно… Мысли у меня путаются, но почему вы понимаете меня иначе… то есть, не иначе… Ах, да что же это со мною?

Растерянно оглядываясь, морщила свой лоб покупательница, а поэт продолжал смеяться, глядя на нее открытым, радостным взором.

— Ну, наконец-то мы столковались с вами, — сказал он. — Часто люди ошибаются в средствах, ведущих к общему благополучию. Они подклеивают там, где следует отсечь. Хирург чаще полезнее гомеопата. Разве вы еще в этом не убедились? Но я сумею вам быть полезным. Я именно тот аптекарь, какой вам нужен. Вот в этом шкафу под литерой «А» я найду то, что нам необходимо… Маленький кусочек сахара, белую крупинку,

которая, навсегда избавит нашу старушку от страданий, а вас… О, я ручаюсь вам!

Анемподист Иванович поднялся на ноги, но ноги плохо его слушались, заплетаясь в замысловатом танце.

Он сделал несколько неверных движений из стороны в сторону, пробуя удержать равновесие…

Пламя в лампе вильнуло в последний раз и погасло. Бурый кот перестал умываться и замяукал. Надо отдать ему справедливость — мяукал он пренеприятно и все громче, точно находил в этом особенное удовольствие.

Поэт толкнул досадливо кота ногой, но сейчас же почувствовал, что падает.

Несколько мгновений после того сидел он неподвижно, закрыв глаза, боясь шевельнуться. Сладко сжималось, билось неровно сердце. Когда же поднял поэт лицо, то тотчас же увидел над собою знакомую фигуру.

Длинный тонкий нос склонялся к нему участливо.

— Вот ваша шляпа, — сказал аптекарь, — вы ее бросили на пол.

Но Анемподист Иванович молча поднялся и пошел прочь. Он отворил стеклянную дверь,

спустился с крылечка и зашагал по досчатому тротуару вдоль переулка.

Чем дальше уходил господин, тем выше подымался белый молочный туман и, наконец, он скрыл в своих сырых волнах высокую фигуру худого путника и величественно следовавшего за ним кота…

…Вскоре прибежал маленький человечек с лестницей и потушил одинокий фонарь перед аптекой. От этого стало как будто бы светлее. Вполне ясно можно было сквозь туманную завесу различить на деревьях зеленые почки. Все деревья точно покрылись зеленым пухом.

Теперь никто бы не ошибся, сказав, что наступила весна. Во всяком случае, все осталось по-старому, и весна пришла своим порядком, как делала это каждый год, потому что мы-то с вами, читатель, прекрасно знаем, что чудес не бывает.

1920 г.



НЕРВЫ{17}

Сергею Недолину

Я охотился в окрестностях города П., у Западной Двины, уже третий день. Погода благоприятствовала — дни стояли тихие, солнечные; ночи — светлые, росные. Собака ходила отлично и, хотя была далеко не породистой — держала стойку мертвую, подводя к самому носу дичи. Лесник, у которого я остановился, — хозяин пса, — оказался человеком положительным, тонким знатоком птичьих повадок, и мы успели распушить два тетеревиных выводка.

Возвращался я в П. пешком, нагруженный своими трофеями, удовлетворенный и усталый. Идти надо было верст двадцать пять большим трактом, окаймленным старыми раскоряченными березами, по преданию, насаженными при Екатерине.

Весь день проспал в темном углу сеновала, а под вечер, закусив, тронулся в путь, рассчитывая к рассвету добраться до дома.

Уже перед закатом хлынул ливень, заставив-

{17} Комментарии: 2.17
КК.

ший меня забраться в чащу можжевельника, но он замер быстро, и я, немного вспрыснутый, пошел дальше.

Иссохшая до этого земля теперь разбухла, канавы и колеи заполнились водой, и ноги мои скользили, заставляя меня делать уморительные движения, чтобы удержать равновесие. Ружье и сетка с дичью немилосердно болтались, больно ударяя меня в спину, но это ничуть не испортило моего настроения, наоборот — подняло его благодаря свежести, оживившей усталую голову.

Весь лес, вдоль которого тянулся тракт, гомонил от громкого птичьего говора; листья стали ярче, трава точно вновь выросла и помолодела, а небо — бледно-васильковое — ушло выше.

Навстречу мне проехала телега. Она немилосердно тряслась, — бурая лошаденка широко расставляла короткие ноги, мчась тяжелым галопом, кидая в стороны жирные комья грязи.

Седоки галдели пьяными голосами, а поравнявшись со мной, замахали шапками. Их было пять — два мужика и три бабы. Бабы — в черных платках.

— Умер, родимый, умер! — кричали они мне вслед.

Я догадался, что встречные — с поминок. Вещь

обыкновенная, давно мне известная, но почему-то теперь неприятно покоробившая. У меня явилось непреодолимое желание оглянуться, а оглянувшись, я съежился и пошел быстрее.

Темнело. Уходящее солнце заливало багрянцем стволы сосен и листья берез. Потом из чащи поднялся туман и, медленно взбираясь тяжелыми клубами над дорогой, сдавил ее, распластался и замер — густой и непроницаемый.

Это был осенний туман, гнетущий туман, являющийся вместе с залетными птицами, пронизывающий до костей, насыщенный запахом дыма, подхваченным с вырубленных лесных дач, где день и ночь тлеют старые пни.

Он, казалось, дышал огромными жабрами, как гигантская неведомая рыба моря, проглатывая поля с поблекшими травами, вздыхающую землю, одинокие березы, заброшенные деревни, алеющие леса.

Он наполнял душу ноющей тоской, заставлял вздрагивать от пронизывающей сырости.

Ноги плохо слушались, попадая в размокшие рытвины, скользя и расползаясь. Я шел теперь ощупью, потому что ничего нельзя было различить в этих мутных потемках. Ночь пришла совершенно незаметно — надо было ждать

полночи, когда туман обыкновенно спадает и показывается луна.

Я шел, стараясь удерживать равновесие, пробуя отвлечь свое внимание далекими воспоминаниями, чтобы отогнать нарастающее уныние, когда над самым ухом моим раздался отчаянный треск, топот копыт и что-то бесформенное и темное, сломя голову, пронеслось мимо. Я остановился с сильно бьющимся сердцем, инстинктивно схватясь за ружье. Мне показалось даже, будто три черные головы закивали мне из туманной мути под чмоканье грязи.

Я старался успокоить себя, так как знал наверное, что это проехала обыкновенная телега с запоздавшим мужиком.

Но ноги мои ослабели, и я почувствовал невыносимый приступ голода.

Тогда, достав из сумки оставшийся случайно кусок черного хлеба, я с жадностью начал грызть его, не сходя с места, широко расставя ноги, с прилипшими ко лбу от пота волосами. Только съев весь хлеб, я был способен тронуться дальше.

Теперь я шел быстро, нелепо вскидывая руки, подгоняемый ударами ружейного приклада и нервной возбужденностью.

Дорога неожиданно свернула вправо. Я дога-

дался об этом, попав в канаву, и уже медленнее, весь измазанный, пошел вперед.

Туман редел.

Можно было различить контуры деревьев и сереющие просветы неба.

Я непрестанно натыкался на какие-то бугры или кочки и то взбирался вверх, то неожиданно скользил вниз. Эта борьба с дорогой положительно была мне не по силам. Хотелось сесть прямо здесь в грязь и не двигаться.

Но это было слишком рискованно, и я решился на последнее пришедшее мне в голову средство. Я побежал, делая широкие прыжки.

Сначала это удавалось мне, но потом я почувствовал, как земля уходит из-под моих ног, дуло ружья ударило меня в голову, я протянул вперед руки и схватился за что-то стоящее впереди — ствол дерева или верстовой столб.

Тогда произошло что-то непонятное. Послышался глухой шум обрывающейся земли, и я упал куда-то вниз на колени. Что-то тяжелое, за что я держался руками, навалилось на меня.

Ошеломленный, я закрыл глаза, но когда открыл их — замер.

В небе, сквозь редкое облако тумана, белела луна.

Я лежал на коленях в продолговатой рытвине, судорожно сжав на груди большой деревянный крест.

Эта рытвина была обвалившейся под моей тяжестью свежезакиданной могилой. Со всех сторон раскрывали мне свои объятья черные кресты кладбища…



ЧТО ЭТО?{18}

Борису Эйхенбауму

Он мне рассказывал:

— Уже начинало светать, когда я возвращался с моим товарищем домой с дружеской пирушки в мою честь. Пили мы в тот раз мало — как-то охоты не было, но много говорили о будущем, о назначении человека, о литературе и все расстались в радостно-повышенном настроении.

Я еще по пути продолжал развивать товарищу свою мысль о повторяемости старых образов в искусстве.

Не доходя соборной площади, мы расстались и я пошел один, что-то насвистывая себе под нос и возбужденно жестикулируя. На душе было легко, голова казалась светлой и полною значительных идей. Рождалось много веских убедительных доводов, могущих сразить противника.

Поднялся предутренний ветер, площадь была совершенно безлюдна и я шагал прямо на про-

---

{18} Комментарии: 2.18

КК. Позднее с небольшими расхождениями под заг. «Третий рассказ» как часть цикла «Клубок ведьмы: Три рассказа» (Вершины. 1915. № 14). См. также прим. к рассказу «Предчувствие».

тивоположную сторону ее, где мне надо было свернуть на другую улицу.

Собор казался белесым, призрачным. В небе тухли звезды, близок был солнечный день. Теней и туч не было, когда я поравнялся с оградой собора, я отлично это помню.

Но внезапно на белом фоне камня я различил темное пятно. Меня это покоробило. Я подумал, что сидит бродяга и засунул руку в карман за револьвером.

Но, подойдя поближе, я разглядел ясно, что там сидела сгорбленная старуха в черном и щелкала семечки.

Я быстро прошел мимо, так как лицо ее мне показалось неприятным. Она слишком пристально смотрела на меня.

Миновав площадь, я хотел войти в улицу, когда опять на самом перекрестке увидал черное пятно сидящей женщины.

Она смотрела на меня и грызла семечки.

«Странно, — подумал я, — здесь обыкновенно бывает пусто, а теперь попадаются какие-то подозрительные личности».

И, чтобы не проходить мимо старухи, я свернул в сторону и пошел окольными путями к своему дому.

По дороге мне больше никто не встретился и я уже почти забыл о старухе, которую принял за докучливую попрошайку. Но, отворив калитку ведущую к нам во двор, я остановился, пораженный.

У самого входа со стороны нашего дома сидела совершенно спокойно, облокотившись о косяк калитки, худая маленькая старуха в черном и, глядя на меня, равнодушно щелкала семечки.

Я вообще не из пугливых, в чертовщину всякую не верю, но тут положительно растерялся, и, быстро захлопнув калитку, стал что есть мочи звонить дворнику. Прошло минут пять. За все это время я ни на секунду не отходил от звонка и крепко держался за задвижку, боясь, что старуха может выскользнуть.

Звонил я неистово, в каком-то озлоблении страха.

Наконец я услышал хриплый крик дворника, который недоумевающе спрашивал, что случилось.

Я открыл калитку и прерывающимся голосом рассказал о старухе.

Никакой старухи он не видал. Барчуку просто почудилось после доброй рюмки горилки.

Я уверял его, что вовсе не пьян и заставлял

искать по двору.

Он флегматично показывал на высокий с гвоздями забор и уверял, что сам черт не перепрыгнет такую штуку.

Потом он сделал вид, что «пойдет все-таки побачить» и больше не вернулся.

Ночь совершенно рассеялась, небо стало оранжевым, зачирикали воробьи и я, немного сконфуженный перед светом дня, начал упрекать себя в глупой нервозности.

Затем снял фуражку, чтобы освежить голову, снова надел ее и решительными шагами пошел к подъезду.

Там, я это совершенно ясно увидел, сидела на каменных ступеньках сгорбленная в черном старуха, пристально смотрела на меня, улыбалась и протягивала мне полную пригоршню семечек…

У меня подкосились ноги, и я упал.

1909 г. 17-го ноября.



ДВЕ СТАРУХИ{19}

Николаю Кондакову

Никто не знал, почему они живут вместе и почему вообще они живут, когда давно уже прошел для них срок человеческой жизни, но они все-таки жили — две сгорбленные старухи — одна сырая, расплывшаяся, другая — худая, сморщенная…

Они жили на окраине города, на той улице, по которой каждый день везли покойников, где было тихо, пахло пылью и мертвыми листьями.

Они занимали маленькую комнатку с окном на улицу и часто их можно было видеть в это окно сидящих вдвоем, что-то шепчущих и смеющихся чему-то…

Было тепло и уютно в их комнате с беленькими занавесками, с геранью и канарейкой, с запахом ладана и старости. Все у них было давнее, привычное, насиженное и они крепко держались за это, потому что другое, новое не понимали, а не понимая, презирали…

{19} Комментарии: 2.19
КК.

И хотя, казалось, ветер часто налетал на землю и сносил застоявшийся воздух, жизнь усложнялась и молодое крепло — они, эти две старухи, все-таки продолжали жить на краю города, на улице, по которой проносили покойников, у ограды кладбища — шептались, смеялись и не умирали…

Их прошлое было разное и сами они были разные — одна толстая, другая тонкая, — но будущее их ждало одинаковое и одинаковые мысли копошились в их старческих головах.

Они радовались жизни.

Они счастливы были, когда, просыпаясь на заре, видели лучи встающего солнца, радовались пище, которую они ели, не пережевывая, радовались тем покойникам, которых везли мимо них на черных дрогах печали…

И особенно они любили маленькие детские гробики — такие скромные и невинные, обитые белым.

По очереди ходили они на базар и каждая из них приносила другой радостные вести вместе с пищей, поддерживающей их существование…

И, сидя у окна, они говорили.

Прошлое друг друга они хорошо знали, будущее было неизвестно и страшно, но было одно, что

давало нескончаемую тему их разговорам и это одно была — *смерть*...

Не их смерть, которая, казалось, уже близко подошла к ним, нет, а смерть тех, что проносили мимо них...

— Ты знаешь, — говорила тонкая, нагибаясь к толстой и открывая бледный обтянутый рот, — ты знаешь, сегодня опять умерла одна молодая... кхе-хе... да, да — она умерла как раз перед свадьбой, как раз перед свадьбой и жених ее сошел с ума... Его свезли в больницу... Она была здоровая, но смерть пришла оттуда, откуда ее не ждали... Она купалась и утонула... хе-хе... смерть всегда приходит неожиданно...

И толстая вторила ей:

— Да-да, моя милая, — это так, это так...

— А тут, напротив, живет художник, — продолжала тонкая и голос ее хрипел от восторга и напряжения, — он простудился и кашляет... И я знаю — не пройдет месяца, как он умрет... А он хотел кончить свою картину и мечтал о славе...

— Это всегда так, это всегда так, — неподвижно, чуть открывая губы, повторяла толстая, которая рада была, что за нее говорит другая и именно то, что она думала.

Так жили они из года в год, с боязливо-радост-

ной улыбкой встречая утро и с торжествующих хихиканьем провожая день.

Он видели, что они живут, а другие умирают, видели, что занавески, герань и канарейка оставались неизменными, а все другое менялось и гибло.

Умирали гордые, красивые и любящие люди, а они — ненужные старухи — уродливыми беззубыми ртами славили жизнь.

— Мы еще живем, мы еще живем, — говорила тонкая и терла свои костлявые пальцы, — сегодня у нас будет суп из мяса, а соседка обещала мне передать все новости.... Ты слышишь, милая?...

И толстая качала лысой головой, силясь приподнять веки:

— Слышу, слышу, милая, — отзывалась она и смеялась тихонько-тихонько...

Все чаще и чаще проносили мимо них темные гробы и бледные молодые люди со строгими лицами провожали их... И в звонком редком воздухе осени все чаще вздыхало тоскливое пение смерти...

У окна своей комнаты сидели две старухи — сегодня, как вчера, неизменные — тонкая и толстая... а мимо них одни за другими тянулись дроги...

В этот раз их было много и толпа без шапок — темная и большая — тянулась за ними…

— Опять везут, — заметила толстая и угасшие глаза ее тускло блеснули из-за вспыхнувших век, — откуда так много?

— Подожди, подожди, — подхватила, волнуясь, тонкая, — еще больше увидишь… Вот — и те и эти умрут — все умрут; а мы будем провожать их глазами… Там, в городе, они сумели хорошо найти свою смерть… И смотри, — все молодые… Они ищут счастье!… хе-хе… они создают жизнь и умирают…

— Хе-хе… да, — умирают… *А мы живем!* ведь мы живем? — лукаво подмигивала худая.

— Живем, все живем! — захлебываясь, сипела другая.

Они смотрели друг другу в лицо, подмигивали и тихонько, торжествующе смеялись…



ЛЕГЕНДЫ О ХРИСТЕ{20}

1. Роза

Было это тогда, когда Иисус шел со своими учениками в Иерусалим ко дню пасхи.

Долго шли они, но казалось, не утомлялся Христос, и кроткая умиротворенная улыбка играла на Его губах.

Много притч — трогательных и нежных — рассказал Он своим ученикам, но никто не сумел записать их, так непередаваемы были они в своей сладостной печали. К вечеру одного дня недалеко от Иерусалима нашли путники одинокий дом и зашли отдохнуть.

Розовые тени падали на исхудалое лицо Учителя, и последние лучи солнца играли в Его глазах.

Медленно шел Христос по тропинке сада, окружавшего дом, и медленно, усталой походкой, следовали за ним в молчании ученики Его. Они были голодны и хотели спать, и не трогала их красота угасающего вечера.

{20} Комментарии: 2.20

Новый журнал для всех. 1915. № 5, май. «Роза» (с посвящением «Отцу моему», датировкой «1908 г. 6 апреля. им. Илово» и некоторыми расхождениями) впервые в КК.

Для Христа же пришел час Его молитвы.

Тихо шептали что-то Его губы, и шепотом отвечали Ему темные листья олив, тонким запахом кадили Ему засыпающие цветы.

Сизой дымкой застилались вечерние дали, и капли слез в глазах Учителя были так же кристально-чисты, как жемчужные росинки в чашечках лилий.

Но внезапно Христос остановился. Перед ним у конца тропинки раскинулся скромный куст горной вьющейся розы — и алые, душистые цветы ее, хранимые острыми шипами, посылали и свое прости уходящему дню. Непонятной радостью зажегся взгляд Учителя. Он быстро протянул руку к кусту с розами.

Ученики не успели предупредить Его, чтобы был Он осторожен, и укоризненно, с соболезнованием, закачали головами, когда в руке Христа увидали алую розу, а с пальцев, оцарапанных шипами, упало несколько капель алой крови.

Но Учитель, казалось, не чувствовал боли, в молодой радости прижимая к устам сорванный цветок.

Он целовал его.

Тогда подошел к нему Петр и сказал:

— Учитель, эта роза поранила Твои руки, пото-

му что не знает, кто Ты… Но прикажи нам и мы вырвем ее с корнем и бросим в яму для нечистот. Не целуй ее…

Но Христос только тихо покачал головой и улыбнулся, не отрывая губ своих от цветка. И тогда подступил Иаков.

— Учитель, — с любовью молвил он, — хочешь — я сорву все шипы с этого куста, и ты будешь наслаждаться запахом его цветов, не причиняя себе боли.

Иисус же поднял голову, и глаза Его устремились на догорающую полосу зари; никогда еще не видали ученики в лице Учителя такого взгляда. Пресветлый восторг, озаренный Страданьем, мерцал в Его глазах.

И, помолчав мгновенье, Он сказал:

— Этот цветок — путь моей жизни… Кто насладится душистыми лепестками его, не испытав боли? Кто войдет со Мной в Царство Небесное, не изранив сердца своего?

Истинно говорю вам — скоро приидет то время, когда обретете вы счастье свое через страдание, ибо, омывши в нем души свои, познаете блаженство.

2. Вера человеческая

Ко многим ученикам и верующим являлся Христос после воскресения своего. Всюду встречали Учителя со слезами и радостно, но с душой смущенной и боязливым сердцем.

И только один Фома дерзнул прикоснуться к зияющим ранам Воскресшего и, осязав живое тело, уверовал истинно.

Другие же не решались дотронуться до Него, боясь смутить души свои призраком. Грустно было Иисусу, пришедшему в славе и духе. Часто, ночной порой, скользил Он по спящим улицам города, прислушивался к сонному дыханию людей, к их шепоту и вздохам. Дыхание их было зловонно от пищи, которую они ели, шепот их был мольбою о хлебе, а вздохи о смертности плоти. Потому что все они в гордыне своей только жизнь признавали истинной. До белых и розовых зорь скользил Учитель по улицам города. А к утру всходил в нагорные сады и рощи, и уносился сердцем к престолу Бога с запахами очнувшихся цветов. Он плакал с росами у ног Отца Своего и молился с травами за стадо человеческое.

Но нигде не находил Он веры в воскресший дух свой, ибо в мире осязаемого жили люди и

поклонялись сущему.

Тогда подумал Христос:

«Пойду я к дочери Иаира, воскрешенной Мною. Уверует ли она, приявшая от Меня новую жизнь?»

И постучался у дверей ее дома.

— Впусти, жено, странника и накорми хлебом, — сказал Он. Но, увидав Иисуса, с громким плачем упала на пол воскрешенная Им женщина и воскликнула, ударяясь оземь:

— Ей, Господи, зачем испытываешь меня, когда давно распят Ты и погребен, и стража стоит у входа Твоей усыпальницы. Я со всеми верующими плакала о смерти Твоей…

Тогда Христос сел на скамью, привлек к Себе трепетавшую женщину и спросил:

— Как же ты веришь, что Я вокресил тебя и что живешь ты, а в Мое воскресение не веруешь?..

Но женщина молчала в страхе и плакала.

Грустно поник головой Учитель; облако печали опустилось на чело Его, скорбно шептали Его губы:

— Истинно, истинно — я среди слепых… ибо все вы уверены в жизни тела своего, но не постигаете чуда…

И, умолкнув, стал невидим.



ЛЕГЕНДА РЫБАКА{21}

Княгине Е. Ф. Кропоткиной

Однажды, гонимый все дальше неутихающей скорбью по той, которую я оставил во имя долга, тщетно ища забвения в лесах, пустынях и морях, — я забрел в дикую страну скал и озер, полную таинственных легенд о былом и молчаливого укора будущему.

Надо мной уже дрожали темные тени ночи, готовые спуститься на землю; плакала и вздыхала где-то вдали неведомая птица, а может быть, душа, так же, как и моя — потерянная и одинокая в мире; сдвигались ближе друг к другу немые скалы и гасили свет свой озера.

Там на палевом, когда-то близком мне западе, Вечный окунул свой пылающий факел в море.

Двигалась тьма…

Усталый и подавленный, я решил отдохнуть здесь, на берегу ближайшего озера, у костра угрюмого рыбака, расстилавшего мокрые сети.

Молча смотрел я перед собой, не думая ни о

{21} Комментарии: 2.21
КК.

чем, забывая время, невольно следя за белыми клочьями тумана, колеблющимися над зеркалом неба; за медленными движениями рыбака; за искрами, пьяно и беспомощно прыгающими в розовом дыму костра. Редкие, Бог весть откуда рождающиеся звуки будили замерший воздух — и, многократно отброшенные скалами, затихали слабым, болезненным стоном…

Печальное, потерянное Эхо спрашивало что-то у бледного неба, искало свою возлюбленную Тишину…

Бесцельно скользя перед собой, мой взор остановился, наконец, на середине озера и долго оставался неподвижным. Погруженный еще в далекие грезы, я бессознательно ловил взглядом там на середине неясные контуры двух фигур, которые походили на склоненных друг к другу гигантских в сером людей.

«Это туман», — тотчас же подумал я и, чтобы проверить себя, закрыл глаза.

Но, открыв их снова и направив на средину озера, я опять увидал два молчаливых фантома, неподвижно склоненных над гладью вод.

Тогда, заинтересованный, я поднялся и, подойдя к рыбаку, спросил его:

— Что это возвышается там, на середине озера?

Он молча посмотрел по указанному направлению, потом строго взглянул на меня.

— Это камни «Застывшей любви»…

— «Застывшей любви»? — тихо переспросил я и, зная, что не следует расспрашивать этого угрюмого человека, иначе он мне ничего не расскажет, медленно отошел от него и сел опять у костра.

Много сотен лет стоят эти таинственные камни, быть может, остатки когда-то бывшего утеса, погрузившегося в воду, или осколки горы, слетевшие в долину вместе с ледяными обвалами — загадочные призраки доисторических времен, немые божества нашего зверя-предка, — застывшая неумирающая любовь, — поэтический образ угрюмых рыбаков…

Вокруг них бродят туманы, шепчется вода, — над ними пустое северное небо, — неразгаданная вековая загадка…

Я смотрел на них и думал и не слышал, как рыбак подсел ко мне, только потом увидел его лицо — темное, твердое лицо, заросшее, как мхом, волосами, многознающее, с печатью долгого молчания.

Он тоже смотрел туда, на озеро.

— Этой воды здесь раньше не было, — молвил он наконец, — а цвели душистые цветы и росли

стройные сосны и жили здесь люди… счастливые люди… Но потом всего не стало и разлилось мутное соленое озеро Возмездия…

Он смолк, точно выжидая от меня каких-нибудь вопросов, но я молчал и думал:

«Ну да, — конечно, — “озеро Возмездия”, “застывшая любовь”… Наверное, это легенда о двух любовниках, преступивших долг и совесть и за свою преступную любовь наказанных небом… Наверное, так…»

И тогда, не получив от меня ответа, старый рыбак рассказал мне следующую повесть:

«Недалеко отсюда когда-то давно стоял богатый замок и жила в нем прекрасная Айне. Молодая и веселая, — она любила смех и радость, — и все вокруг нее были счастливы. Но у нее был муж, угрюмый и нелюбимый ею, один наводящий уныние и страх на весь замок. Однажды, собирая цветы тут, где теперь озеро, Айне увидала молодого рыбака, стройного, с голубыми глазами — и полюбила его…

Они не сказали ни слова, но вышло так что взгляды их, сойдясь, открыли все друг другу. Скрывая от себя свою любовь, молодая женщина все-таки не могла побороть желания и на другой день вновь они встретились на лугу. Краснея

от счастья, молодой рыбак поднес ей пышный душистый цветок…

С тех пор они каждый день стали видеться.

Но она строго чтила обет жены, а он был — бедный рыбак и о счастливой, открытой любви они не смели думать…

“Нет, нет, — говорили они себе, — так дольше не может продолжаться, — мы не должны больше видеться, нет, нужно расстаться…”

Но с каждым днем откладывали горький час разлуки…

И вот раз, когда в небе горело яркое солнце, когда птицы праздновали первые дни любви, а цветы цвели яркими красками счастья, — они не выдержали… и поцеловались…

Только поцеловались…

Но первой опомнилась она и, вырвавшись из его объятий, гоня от себя то, чем жило теперь все вокруг нее, она сказала:

— Уходи, уходи, мой милый, — мы не можем любить друг друга, — это большой грех; нам нужно расстаться… Уходи…

И, говоря так, она хотела повернуться и идти к замку, а он к своей бедной хижине, но ноги их не двигались, а руки не выпускали друг друга.

Они плакали и крупные слезы падали на цве-

тущую долину и жгли пахучие венчики цветов, мечтающих о любви…

И слез было так много, что они залили всю долину; сердца же этих двух людей, преступивших закон вечной любви и ослушавшихся ее велений, — превратились в камни…

И они до сих пор еще стоят здесь в озере собственных слез, как укор убивающим любовь…»

…Я уже не слушал старого рыбака, — глаза мои наполнились слезами и я чувствовал, как сердце мое холодеет и превращается в камень…

1908 г. 17-го мая о. Сайма.


Сказка
о
наслаждении
и
тихом
счастье

СКАЗКА О НАСЛАЖДЕНИИ И ТИХОМ СЧАСТЬЕ{22}

Наш парк террасами спускался к морю. Море у его берегов было вечно сине, как сини сапфиры, или фиолетово, как фиолетовы аметисты, отороченные серебром. Ступени из розового мрамора с прозрачными жилками вели к пенистым волнам моря, и по сторонам каждой ступени стояли бронзовые треножники, курящие пряные травы на раскаленных рубинах.

На самой верхней террасе возвышался храм Солнцу. Пол его был зеркальный, а в жертвеннике лежал дискообразный алмаз. И путем известной комбинации зеркал в нем во все часы дня отражались золотые лучи солнца, дробясь в гранях его семицветными искрами.

Яшмовые колонны звездообразно расходились от жертвенника и замыкались кругом. Вверху они соединялись бронзовыми шпалами.

За храмом тянулся парк.

У парка нашего не было ограды, но никто из решившихся войти в него уже не уходил обратно

{22} Комментарии: 2.22
Аргус. 1914. № 19.

в прежнюю жизнь.

В нашем парке цвели все цветы садов и росли все деревья мира.

Кровавый глаз кактуса скрывался в жестких пальцах своих листьев рядом с белым наивным подснежником; томные азалии утопали в зарослях хмеля, а вокруг темных, углубленных кипарисов молодо шумели кружевом листьев и золотом сережек северные березы.

В темных, холодных гротах, где стояли всегда молчаливые, замерзшие озера, лениво двигались белые медведи, а над гротами, среди гвоздики и терновника, летали маленькие колибри и гигантские бабочки.

Здесь были апельсиновые рощи с веселой ватагой блудливых обезьян и мрачные хвойные леса со столетними кедрами. Тяжелые кисти винограда свисали с могучих ветвей дуба, а желтые хризантемы застыли в синем море васильков.

Но больше всего здесь было фиалок и роз — этих цветов триумфа и наслаждения. Ими украшали себя все женщины парка и ими венчали поэтов, певцов и красивейших, которые почитались у нас наряду с гениями.

Люди не знали здесь своего крова и спали там, где заставала их бархатная ночь. Души и тела их

были нагими, потому что ничего не желали и не искали они здесь, кроме наслаждения и смерти.

И не было ничего такого в мире дающего наслаждение, что бы не находилось в нашем парке. Но только одно делало наш парк чудесным, жутко манящим, ужасным и сладостным, только одно придавало жгучую прелесть волшебной красоте парка — это смерть.

Она жила в цветах, в плодах; она покоилась на крыльях бабочек, смеялась в пении птиц, в ласке волн, жгла в устах женщин.

Все можно было в этом парке людям, живущим в нем; не было ничего недозволенного и запретного, каждый желающий удовлетворял свою душу и тело. Но, вдыхая аромат цветов, слушая птиц, вкушая сочные плоды, нежась на морских волнах, творя обряды в честь Солнца, отдаваясь грезам и лаская женщину, — никто не мог знать, что он делает это не в последний раз.



На каждом дереве, на каждом кусте треть цветов и плодов была ядовита, треть живущего и растущего в парке была смертоносна для людей.

Каждый день подымали люди умерших в Храм Солнца и с радостным пением клали их на жертвенник, где сиял под лучами солнца алмаз, и мертвое тело мгновенно исчезало под палящими лучами солнца и легкой дымкой уносилось в бирюзовое небо. А оставшиеся в живых простирались на зеркальном полу и пристально смотрели на свои отражения, вопрошая себя, велика ли в них любовь к наслаждению, чтобы безбоязненно принять надежную смерть.

***

Я совсем юным вошел в этот парк, манимый прелестью его и теми сказочными ужасами, что рассказывались о нем людьми долин.

Жажда славы манила меня туда, где было столько великих, любовь к прекрасному звала меня туда, где было столько чарующих женщин и пьянящих цветов; смелость молодости влекла меня туда, где было столько таинственного и жуткого. Потому что жизнь долин была ровна и однообразна и на все налагала свой запрет, ставила свои границы, говорила о долге и возрождении.

Беспечным юношей вошел я в Храм Солнца с моими песнями и детским смехом, преследуя ту, которая сулила мне любовь. Долго искал я ее здесь, среди апельсиновых рощ и хвойных лесов, но не нашел и, утомленный и очарованный красотой парка, заснул на цветущем газоне фиалок. Я только хотел поймать мою возлюбленную и уйти обратно к себе в долины, но, проснувшись, почувствовал чью-то теплую ласку, ощутил сладкий запах фиалок и остался.

Со мной была другая женщина и, хотя она не казалась мне такой милой, как любимая моя, но глаза ее были так сини и губы так алы, что я невольно потянулся к ней.

Так прошел еще день.

Я бегал за рубиновыми бабочками, слушал серебряное пение колибри и гордый клекот орлов, спускался по розовым ступеням к сапфировому морю, внимал вдохновенному поэту, а к ночи, оплетенный виноградными лозами, целовал все новых и новых женщин и забывал о жизни долин, о своей возлюбленной.

Уже я не говорил себе, что нужно вернуться обратно, потому что полюбил вино наслаждения, но, боясь смерти, стал осторожнее и, желая обмануть смерть, обманывал самого себя.

Перед тем, как вкусить плод, я долго выбирал и разглядывал его; раньше, чем погрузить свои ноздри в венчик розы, я сдувал с лепестков ее пыль.

И смерть не шла ко мне и я радовался своей хитрости.

Я участвовал в похоронных процессиях и так же, как все, простирался на зеркальном полу, но, глядя себе в лицо, я видел только красоту его и смеялся. Душа же моя молчала…

Я полюбил наш парк.

Я любил его днем, когда он весь сиял под взором огненного солнца, темно-зеленый от листвы, овеянный куреньем, с розово-мраморными ступеням, уходящими в море, с опрокинутой над ним чашей неба, весь трепещущий от жизни и смеха.

Я следил за белыми телами женщин, купающихся в сапфировых волнах; за грациозным полетом ибисов.

Я уходил в лимонные и гранатовые рощи и наблюдал за снежными какаду, зелеными неразлучниками и ловкими павианами. Я слушал шелест берез и ел горьковатую землянику или рвал фиалки и, осыпав ими голову, отдавался грезам.

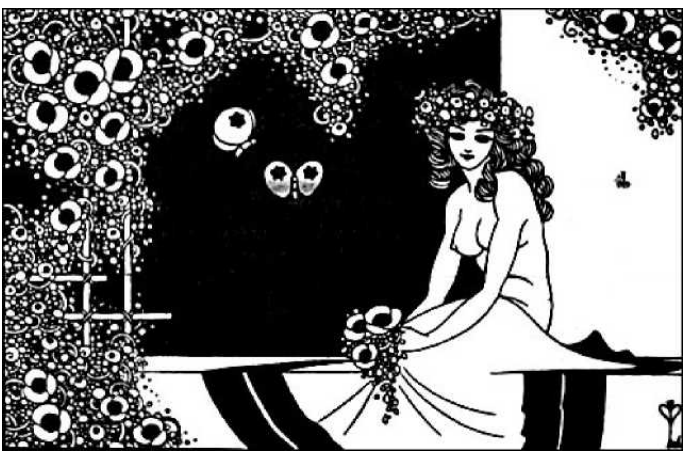
Я любил парк ночью, когда небо походило на

черный бархатный плащ, затканный алмазами, а бронзовые треножники с пылающими рубинами звали на ступени лестницы, где в знойном наслаждении и пляске люди славили уснувшее солнце.

Тогда тело мое вздрагивало жгучей дрожью страсти, глаза вспыхивали желанием и руки тянулись к ониксовому кубку с вином.

В одну из таких ночей я, наконец, нашел ее — мою возлюбленную.

Она сидела на самой вершине последней террасы, у подножия Храма Солнца, прислонившись к одной из яшмовых колонн, и печальными глазами смотрела на меня.



Золотые волосы ее были спущены по плечам и скромным кольцом обвивал голову ее венок из синих фиалок. Нежное девичье тело ее смутно белело на черном фоне колонны.

— Это ты? — спросил я неуверенно.

— Это ты? — повторила она мой вопрос.

И оба мы смолкли на время, почувствовав, что наконец нашли друг друга.

Потом я сел у ее ног и стал рассказывать о том, как прекрасно здесь в парке, сколько здесь красивых цветов и диковинных птиц; спрашивал — искала ли она меня и была ли счастлива.

— Да, искала, — ответила она, — искала…

И снова взглянула на меня своими печальными глазами.

— Я убегала от тебя, потому что боялась смерти и позора, но теперь пришла к тебе потому, что любовь моя выше смерти, потому, что только в ней мое счастье.

Она улыбнулась и положила на плечи свои белые длинные руки.

— Я пришла к избе взять от тебя мою любовь, — услыхал я ее шепот.

Внизу, под нами, в рубиновых огнях двигались быстрые тени людей, опьяненных пляской; еще ниже колебалось море.

Кругом нас бредил уснувший парк.

Падали алмазные звезды.

Я прижался к ногам моей возлюбленной, и она обняла меня и потянула к себе.

Никогда так жгучи не были мои поцелуи и не билось так быстро мое сердце. В моей страсти, впервые, я почувствовал любовь, и любовью же, любовью, превышающей красотой своей всю красоту парка, отвечало мне другое сердце — сердце моей возлюбленной.

Уже опаловое утро приподнялось над гранью моря и взлетели к вершинам снежных гор вольные орлы. Перламутровые туманы поползли по ступеням к Храму Солнца, где я все еще держал в объятиях свою возлюбленную.

Я приник к золотым волосам ее и вдыхал запах увядших фиалок. Я шептал ей невнятные слова любви и верил в долгое счастье.

— Взгляни, уже искрятся зеркала Храма — скоро придет день и мы спустимся с тобой в лимонную рощу, где так тихо и так свежо пахнет, — шептал я ей, — мы будем с тобой, как два зеленых неразлучника, отдыхать в тени деревьев и пить алый сок гранатов…

Я приподнялся чтобы лучше разглядеть встающее из-за моря солнце, но возлюбленная моя

осталась лежать неподвижной и холодной.

Тогда я вновь нагнулся над ней.

В это время одно из зеркал поймало первый луч встающего солнца и передало его алмазу на жертвенник.

Разом весь Храм загорелся ликующим сиянием и озарил лицо женщины.

Из него глядела на меня Смерть.

Поборов отчаяние и горе, я сам снес тело моей возлюбленной на жертвенник и смотрел, как жгучие лучи Солнца унесли его с собою в царство вечного огня.

Потом лег на зеркальный пол Храма и застыл в немом ужасе.

Оттуда, снизу, из неведомой пустоты зеркала, глядело на меня бледное лицо, полное такой невыразимой муки и страха, какой я никогда еще не видал. Черные глаза безумно искали чего-то, а белый рот кривился в застывшую улыбку.

И я сознал, что мне нужно сделать.

Я тяжело поднялся и, шатаясь, побрел в глубь парка, туда, где начинается царство долин Покоя.

Точно потускнело все вокруг меня, точно серая туча нависла над парком, и в ужасе сторонился я от людей.

А когда пришел на границу парка, снова была ночь и сон спустился на долины.

Серый дождь падал с неба и ноги мои скользили. Холодный ветер налетал на меня и шептал мне о моем преступлении.

Я увидал огонек и пошел к нему.

Он горел в бедной лачуге, но, усталый, я не думал о пышности и рад был свету.

Мне открыла молодая девушка в грубой одежде поселянки. Светлые глаза ее с участием остановились на мне и тихим голосом она просила следовать за собой.

У очага я увидел старца.

— Дедушка, — сказала моя спутница, — вот пришел к нам странник и просит крова.

— Пусть сядет, — отвечал тот.

И, обернувшись ко мне, покачал с сожалением головой.

Тогда я стал говорить, — мне нужно было открыть пред кем-нибудь свою душу.

— Я пришел к вам из Сада Наслаждения, где я убил свою возлюбленную, и нет теперь в мире ничего такого, что бы утешило мое горе, — начал я.

— Убейте меня, как преступника, но дайте мне раньше сказать все, что я знаю. Смерть мне будет отрадой, потому что ничего уже я не ищу

в жизни и никакое наслаждение не вернет мне утраченное счастье. Я проклял то место, откуда пришел и страшны и неведомы те страны, что лежат предо мною. Какие поцелуи согреют уста мои, какие плоды утолят мой голод, какое вино убьет мое горе по умершей страсти, какие цветы усладят потухшие взоры? Горе мне, вечное горе, если ты не убьешь меня.

Но старик тихо улыбался на слова мои, а потом положил мне на плечо свою руку и молвил:

— Друг мой, теперь ночь и буря и дождь. Я убью в тебе твое прошлое, когда наступит время, а теперь сон пусть подготовит нас к утру. Вот уже внучка моя постлала тебе постель и загасила светильник.

***

Наутро девушка взяла меня за руку и вывела в поле.

Солнце чуть поднялось над землею и золотило хлеба.

— Возьми серп и делай то, что буду делать я, — сказала девушка.

Я взял серп и стал собирать пшеницу. В молчании работали мы и так непривычно было мне это, что невольно следил я за взмахами серпа своего и

не успевала печальная мысль овладевать мною. Когда же солнце поднялось высоко, мы далеко уже ушли от дома и усталость, голод и жажда один только владели мною.

Старик принес мне хлеба и воды и я пил и ел и никогда ни один плод в Садах Наслаждения не казался мне таким сладким.

Потом опять трудился я и снова упало солнце, но уже не впереди нас, а за нами, туда, где лежало сжатое поле.

Окончен был труд сегодняшнего дня и мог я предаваться своей печали.

Но, лежа в траве и глядя на уходящее солнце, я только тихо плакал слезами раскаяния и веры, и не находил в душе своей прежнего ропота.



Я плакал, а вокруг меня расцветали нежные белые цветы и кадили мне своим вечерним запахом. Скромные полевые лилии расцветали вокруг меня от слез моих, но казались они мне прекраснее всех пышных цветов моего прошлого. И от тихой радости теперь были мои слезы.

— О чем плачешь ты? — спрашивала меня крот-

кая спутница моя и, положив на голову мне руки, тихо разглаживала волосы, а потом, наклонясь, поцеловала в лоб.

И этот братский поцелуй согрел мое сердце и душу, как ни один поцелуй в Садах Наслаждения.

Тогда подошел ко мне старик и, подняв меня с земли, ласково сказал:

— Хочешь ли уйти отсюда и сильна ли скорбь твоя? Хочешь ли умереть сейчас от рук человека или будешь ждать положенное от Господа?

Я не дал старику продолжать и воскликнул:

— Нет, нет — я не уйду отсюда и не вернусь к прошлому! Там, где наслаждение, там смерть нежданна и горе гнетет человека и ничто не приносит утешения. Но я пришел сюда и нашел вино, убивающее всякое горе, плоды, утоляющие голод лучше всех Плодов Наслаждения, поцелуи, согревающие не только уста, но и сердце, и душу; мои слезы взрастили белые цветы — полевые лилии, лучшие из цветов земли — и я не уйду отсюда и буду славить эту страну труда и веры до того часа, когда придет ко мне смерть не как тать, а тихое успокоение.



ПУТЕШЕСТВИЯ
· ПРИКЛЮЧЕНИЯ · ФАНТАСТИКА

Настоящая публикация преследует исключительно культурно-образовательные цели и не предназначена для какого-либо коммерческого воспроизведения и распространения, извлечения прибыли и т. п.